

К 1224 862

К. КОНИЧЕВ

се

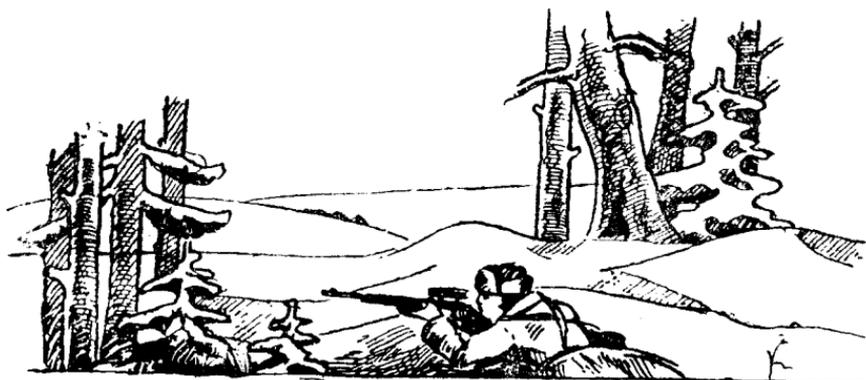
# От Карелии до Кореи



ИРКУТСК • ОГИЗ • 1948

K64





## Первая часть

А мы встретили злодея посреди пути,  
Посреди пути на своей земле,  
А мы столики поставили ему—пушки  
медные,  
А мы скатертью ему постлали  
каленую картечь.

(Из русской былины)

## 1. НАКАНУНЕ И В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ВОЙНЫ

Вероятно, многие из фронтовиков, вспоминая о пережитом за время Отечественной войны, начинают с того дня и минуты, с той обстановки, в какой их застала внезапно разразившаяся война.

Со мною было так: получив очередной отпуск, я поехал из Архангельска к себе на родину, в маленькую деревушку, повидаться со старыми друзьями и знакомыми, которых, кстати сказать, я не видел добрых пятнадцать лет.

Поезд уходил из Архангельска в белую полночь.

За окном вагона мелькали бесконечные полчища низкорослых сосен. Пассажиры разместились по своим местам, многие без промедления легли спать. В моем купе на нижней полке сидел слегка подвыпивший пассажир чуть постарше средних лет. Одет он был в хороший серый коверкотовый костюм; из-под распахнутого пиджака виднелась смятая шелковая голубая рубашка с таким же галстуком. Белая ночь и бутылка коньяку не располагали соседа ко сну. Он пил из граненого стакана, услужливо по-

данного ему проводником вагона, пил и, одобрительно побрякивая, закусывал копченой колбасой.

Мы познакомились. Оказалось, что он едет туда же, куда и я—в Усть-Кубинский район за Вологду.

— Давненько-таки вы не были у себя на родине, а я, батенька мой, не таков!—самодовольно воскликнул пассажир, узнав, куда я еду и сколько лет там не был.—Я человек, скажу прямо, мягкосердечный,—хотя в городе живу, тем не менее свою сельскую домашность никак не забываю. У меня привычка—каждый год, или в начале, или в конце лета, ездить в отпуск домой и никуда больше. Я никаких санаториев и курортов не признаю. В селе у меня—теща, две свояченицы. Есть у меня центральная двустволка, а в погнях там, скажу прямо,—прекрасная охота. Вот и сейчас везу с собой два кило пороху, полпуда дрови. Уж сумею отвести душеньку. Будете там, заходите ко мне в гости. Угощу свежей утятинной. Жить там буду по соседству с бывшим волостным правлением, в собственном доме. Да спросите любого мальчишку, где живет Николай Николаевич Кисельников—вам сразу скажут...

Он разоткровенничался. Я узнал, что мой попутчик служит в Архангельске на «счастливой и сытой»—как он говорил—должности завмага, распоряжается штатом из восемнадцати продавцов, помощников и кассиров и что живет он без нужды и печали, «как прежний граф». В довершение Кисельников сумел осторожно намекнуть, что с такими, как он, вообще не вредно иметь знакомство и дружбу: «Мало ли чего из дефицитных товаров забрасывают к нам в магазин!..»

— Благодарю, я ни в чем не нуждаюсь,—уклончиво ответил я и, прервав разговор, улегся на своей полке. Однако мне не спалось. Минут через двадцать я покосился на соседа. Бутылка перед ним уже успела опустеть. Лицо Кисельникова налилось кровью, нижняя губа отвисла, глаза сузились и сверкали блуждающим огнем. Он сидел полулежа, прижавшись в угол и облокотясь на обернутый чехлом чемодан с блестящими застежками.

Вагон покачивало. Храпели спящие пассажиры. Задремал было и я, но скоро опять очнулся. Сквозь дремоту я услышал настойчивый, неизвестно к кому обращенный голос опьяневшего завмага:

— Магазин! Что значит магазин? Ма-га-зи-нишка! Тьфу, да и только!.. Да разве это для меня, Кисельникова, масштаб!.. Прордыху мне в жизни нет. Доверь мне работу во сто раз больше—горы сворочу!.. Так нет, все нороят на ответственные посты своих. А я кто? Казанский сирота, бедный родственник, сижу на краешке стула и жду, когда придет родственничек побогаче и скажет: «Николай Николаевич, сдавайте остатки, вас

заменяли, вы не заслуживаете доверия!» А? Каково? Вам сударь непонятно, а мне все ясно, как дебет-кредит. Я на этом деле собаку съел. Если бы не двадцать девятый год, я бы в Ленинграде на Невском универмагом ворочал бы. А в то место, пожалуй, в Архангельске магазинишка где-то на углу Поморской...

— Чем же был плох двадцать девятый год?—заинтересовался я.

— Для кого как, а у меня вот он где сидит. Партийная чистка мне боком вышла. Разве я виноват, что у меня отец служил урядником. Подумаешь чин—урядник! Да в переводе на теперешний язык это будет пониже начальника районной милиции.

— Вас, наверно, вычистили из партии не за то, что вы сын урядника, а за сокрытие социального происхождения?..—возразил я.

— Сокрытие, сокрытие,—пробормотал Кисельников,—меня принимали, как сына служащего, а отец мой тогда действительно был служащим и возглавлял заготовку березовых чурок для Ленинградской катушечной фабрики. Меня вычистили, а потом и отца за какую-то провинность...

Кисельников замолк, затем попробовал запеть «Выходила на берег Катюша», но ничего из этого не вышло; он повернулся на бок и быстро заснул с разинутым ртом.

Поезд остановился на какой-то станции. Несмотря на позднее время, на платформе было множество местных обитателей. Кто-то торопливо садился в вагон, с шумом протаскивая вещи. Звонкие девичьи голоса доносили обрывки песен-коротушек:

Ой, провожала милова

До станции Пермилова...

Промасленные железнодорожники поспешно шныряли под вагонами и простукивали молотками колеса... Я взглянул на соседа и мне почему-то подумалось, что наша коммунистическая партия—это поезд, идущий на дальнейшее расстояние. Время от времени в поезде простукивают колеса, проверяют гайки, и, если находят что-либо непригодное, выбрасывают вон во избежание всякого вреда.

Когда я погружался в сон, мне уже казалось, что на месте, где храпел пьяный завмаг, лежит разбитое вагонное колесо.

На другой день поезд прибыл в Вологду.

Кисельников немедленно исчез. Видно, вспомнив, что ночью спьяна наговорил о себе много лишнего, он решил уйти, не простившись, и больше на глаза мне не показываться. Не думал я, что снова встречу с ним при совсем других обстоятельствах.

До отправки парохода было еще много времени. Я пошел в город, любовался на новостройки, осматривал древний собор и стены вологодского кремля, воздвигнутые еще во времена Грозного, зашел в архивный отдел, в библиотеку бывшего дворянского собрания, в музей. Еще успел я посетить знаменитый домик, где в тесной комнатухе с единственным окном, выходящим во двор, жил в тяжелые годы царизма в вологодской ссылке великий человек, чье имя произносится с любовью и восхищением на всех языках мира...

Путь по реке не был ничем примечателен. Однако, всю ночь я не уходил с палубы, смотрел на берега, заросшие ивняком и ольхой. На пароходе мне встретилось немало усть-кубинских земляков. Кто-то из них рассказал, что деревня Попиха, в которой я родился и провел детство и юность, с тридцатого года уже не существует. Соседи все разъехались—кто в город, кто на фабрику. Даже изб и сараев не осталось, они пошли на строительство соседнего животноводческого совхоза.

Моя поездка «на родину» утратила для меня интерес, превратилась в прогулку.

С обратным парходом я отправился назад.

Небольшой колесный пароход выходил из Кубины на широкую гладь озера. Был тихий, спокойный и теплый июньский вечер. Потревоженные стаи уток носились над простором Кубино-озёрья, над пожнями, поросшими густой, в человеческий рост осокой. Чайки с визгом летали над самой водой, ловили мелкую неосторожную рыбешку, другие кружились за кормой парохода, выпрашивая у пассажиров подачки. В стороне за развалинами древнего Спасо-Каменного монастыря буксир тянул к системе Маринских наналов баржи, груженные досками, и плоты экспортной древесины. Рыбацкие карбасы, наполненные рыбой, один за другим шли к Заозерью. Уставшие за день рыбаки, довольные добычей, солидно сидели на свернутых сетях и, покачиваясь на лодках, курили трубки. Тишина, покой, мир!

Перед закатом солнца легкий ветерок начал рябить воду. Я спустился в красный уголок парохода, читал «Огонек», решал кроссворды и еще какие-то головоломки.

Затем развернул последний номер «Правды».

Здесь, в северных краях, еще не начинался сенокос, а в далеком солнечном Узбекистане колхозники уже собирали обильный урожай. Готовилась к уборке хлеба Украина, в Крыму и на Кавказе начинался курортный сезон, московские архитекторы на очередной конференции обсуждали проекты реконструкции столицы. По северным рекам к лесопильным заводам шли миллионы кубометров леса, а в Самарканде антропологи и химики вскрывали и исследовали останки Тимура. Страна жила обычной,

мирной, созидательной жизнью. Но в коротких газетных строках международной хроники чувствовалось нарастающее напряжение.

Коварный враг удавом извивался у границ Советского Союза. Иногда осторожно маневрируя, он приподнимал свою мерзкую голову и высматривал себе добычу на нашей земле, стягивался упругими кольцами, шипел, пуская ядовитую слюну, тайно готовясь к внезапному прыжку на страну мирного советского народа.

В задумчивости я бережно свернул газету, отложил ее и остался наедине со своими мыслями.

Пароход прибыл в Вологду утром в воскресенье 22 июня. На перекрестке двух улиц, у репродуктора, я увидел толпу людей и услышал сдержанный говор. По лицам можно было понять, что ожидается нечто серьезное.

— Граждане и гражданки Советского Союза!—послышался твердый голос товарища Молотова. И народ безмолвно застыл у репродукторов, улавливая каждое слово правительственного обращения.

— Война!—пронеслось в толпе.

— Война!..

И снова напряженное молчание. Все слушают.

— «...Правительство призывает вас, граждане и гражданки Советского Союза, еще теснее сплотить свои ряды вокруг нашей славной большевистской партии, вокруг нашего Советского правительства, вокруг нашего великого вождя товарища Сталина. Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.»

До этой минуты я предполагал еще побывать во время отпуска в Москве и Ленинграде. Теперь все это было отброшено. Скорей домой! Там уже, наверно, ждет меня повестка из райвоенкомата...

Через полчаса я был на вокзале.

## 2. ВДАЛИ ОТ БОЕВ

Первое, что бросилось мне в глаза, когда я сошел с поезда в Архангельске,—военная сутолока, охватившая город. Повсюду строились бомбоубежища. Кое-где на перекрестках, вблизи областных учреждений, возводились укрепления на случай возможной высадки десанта парашютистов. На крышах зданий поспешно устанавливались спаренные зенитные пулеметы. Окна пестрели наклеенными полосками бумаги. В центре города перекрашивали и маскировали дома. Несмотря на то, что город находился на довольно почтительном расстоянии от фронта, он

готовился к отпору. И все сознавали, что эти предосторожности не излишни.

Придя домой, едва успев поздороваться с женой и сыном, я спросил, есть ли мне повестка о призыве в армию.

Жена подала пакет, полученный ровно через час после вчерашнего выступления товарища Молотова.

Через несколько часов я уже надел военную форму. Летняя хлопчатобумажная гимнастерка с тремя квадратами в петлицах плотно обтягивала плечи.

Белье, два полотенца, носовые платки, кружку, котелок—все это я сложил в вещевой мешок. Такие сборы для меня не были новинкой. Ежегодно, за последние пять—шесть лет, мне доводилось проходить боевую подготовку в военных лагерях. Один лишь незначительный предмет, выданный вместе с обмундированием, оружием и снаряжением, свидетельствовал, что нынешние «сборы» совсем не те. Это был обыкновенный медальон в виде пластмассовой трубочки, в которую вкладывалась узкая полоска бумаги. Я записал на этой полоске адрес своей жены.

Однако на настоящую войну я попал не сразу, к моему великому разочарованию.

Мне было приказано временно работать в одном из отделов штаба. Когда отправят на фронт, было неизвестно.

Потянулись дни за днями. Поступили тревожные вести об отходе наших войск. Эшелон за эшелонам—пополнения отправлялись на запад. Враг напирал в трех направлениях—на Ленинград, на Москву, на Киев.

Однажды, провожая меня на работу в штаб, жена сказала:

— Вчера я встретила Кисельникову, ее дочурка учится в нашей школе, а мужа ты должен знать, завмаг и твой земляк. Он с тобой недавно до Вологды в одном вагоне ехал. Так вот эта Кисельникова встретила меня такая веселая и говорит: «Мой Коля растратил десять тысяч, и его уже осудили на пять лет принудительных работ». Я спрашиваю: «Чего ты радуешься?». Она говорит: «За пять лет, глядишь, война кончится, Колю не побеспокоят, жив останется». Ну, не сволочи ли?

Вспомнив встречу с Кисельниковым, я не удивился.

— Семья не без уroda,—сказал я.—Тем более в такое острое и тяжелое время уроды, как прыщи, будут появляться.

Тяжелая туча продолжала виснуть и разрастаться над нашей Родиной.

День за днем все тревожней и тревожней приходили вести с фронтов Отечественной войны.

В глубокий тыл из прифронтовых городов продолжали идти поезда с фабрично-заводским оборудованием. На новых местах—на Урале, в Сибири поспешно строились корпуса заводов. От-

мобилизовывались, обучались, вступали в строй все новые и новые соединения Красной Армии.

В эти первые месяцы войны я очень редко заглядывал домой. Мне постоянно приходилось выезжать за город в расположения запасных соединений, полков и маршевых батальонов. Однажды я на целую неделю с группой военных товарищей вылетел на самолете в чекуевские леса искать и вылавливать вражеских парашютистов.

К осени немцы вырвались к Волхову, к Тихвину, к станции Мга. Завязались ожесточенные бои в ближайших окрестностях Ленинграда. Нити железных дорог, ведущих к нему, были на долгий период перерезаны.

Я стал настойчиво обращаться к моему начальнику, подполковнику Галактионову, с просьбой отпустить меня на фронт.

— Придет время, — поедем вместе, — неизменно отвечал Галактионов.

Наконец, однажды он вызвал меня к себе в кабинет и объявил:

— Едете на фронт в командировку, на месяц. По специальному заданию. На участке между Ладожским и Онежским озерами финны и немцы прорвались в глубь нашей обороны и в отдельных местах проникли в западную часть Оштинского района Вологодской области. Сегодня же без задержки вы будете доставлены туда на самолете...

Получив подробные указания и запомнив все, что требовалось запомнить, я в приподнятом настроении вышел из кабинета подполковника.

Через час быстроходный катер оторвался от пристани и, с шумом разрезая двинские волны, понесся в сторону аэродрома.

Сумрачный день не предвещал летной погоды. Синоптики предсказывали порывистый ветер, низкую облачность и даже снег. Однако, не взирая на плохие предзнаменования, наша нерасторопная «амфибия» тронулась в далекий путь. Во избежание нежелательных встреч с ныряющими «мессершмидтами», наш безобидный самолет, убрав шасси, шел бреющим полетом. Окрашенная для маскировки в болотный цвет «амфибия», вероятно, была почти, а то и совсем незаметной с большой высоты. Тем не менее, летчик, молодой парень, опасливо поглядывал по сторонам и вверх. И мне подумалось, что он боится смерти, боится случайной встречи с вражеским самолетом. Еще бы не бояться. Ведь на вооружении у нас только два револьвера!

В сумерки, сделав разворот над городом, самолет с выключенным мотором пошел на снижение.

Простившись с летчиком и поблагодарив его за благополучную доставку, я направился искать начальника гарнизона. Ни-

кого не спрашивая, я зашел в дом, около которого стояли грузовые и санитарные автомашины и дымили походные кухни; оказалось, что попал как раз куда надо. В комнате с ободранными обоями за столом на ящике из-под макарон сидел строгий на вид, черноусый, с подвязанной щекой начальник гарнизона. Вся его незатейливая канцелярия состояла из помятой карты и раскрытой полевой сумки. Проверив мои документы, он предложил отдохнуть, а на утро, до рассвета, отправиться с попутной машиной туда, где разрозненные части сдерживали напор финнов.

— Далеко это будет?

— К сожалению, близко,—ответил начгарнизона и, склонившись над картой, показал, где проходит линия фронта...

### 3. ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Поздно вечером я расположился отдохнуть. На улице стояла непроглядная тьма. Где-то вблизи, за городом, на озере ежеминутно, то опускаясь, то поднимаясь и разрезая осеннюю мглу, маячили белые лучи прожекторов Онежской флотилии. Вдалеке, на Свири, занималось полыхающим заревом село Вознесение. Там был фронт. Изредка доносились тяжелые глухие раскаты взрывов...

Несмотря на усталость, я не мог уснуть. Погасив свет и полуоткрыв маскировку, глядел я в открытое окно: напротив, через дорогу, у старинного здания бывшей уездной гимназии в крошечной темноте мигали скупые огоньки карманных фонарей. Там санитары и медсестры переносили с грузовых машин раненых бойцов.

За ночь подсыпало снегу и слегка подморозило. Навигация подходила к концу, а от Свири нажимал враг. Речники торопились. Они спешно, —пока не сковало льдом систему озер и каналов,—отправляли государственные грузы, эвакуировали свои семьи. На улицах под открытым небом, вблизи пристани, скопилось много эвакуированных из Заонежья. Они долго и терпеливо ждали пароходов на Белозерск, на Череповец, на Вологду. В одном месте на куче узлов и ящиков, несмотря на холод и хлопьями падавший сырой снег, спала усталая женщина. Судя по тому, как она лежала, —головую вниз наперевес через узлы,—можно было понять, что сон свалил ее внезапно. Ей, измученной переездами и тяжкими переживаниями, сладок и приятен был сон даже в такой неудобной позе и в таком месте. Рядом с ней на чемодане сидел небрежно закутанный в кацавейку мальчик лет шести—семи. Я невольно вспомнил о своем сынишке. Мальчик, бледный, голубоглазый, беспокойно озирался вокруг, изредка вздрагивал.

Ему, видно, хотелось плакать, но не было слез. Они уже были выплаканы.

— Дяденька военный, скоро ли кончится война?—спросил он меня тревожно и вздохнул.

Я подошел к нему, достал из своего противогаза плитку шоколада, подал.

— Спасибо, дяденька.

— На здоровье, милый. А маму не трогай, не буди, пусть отдыхает.

— Это, дяденька, не мама, а тетя Глаша. Маму с самолета фашисты убили. В Подпорожье похоронена...

Я отошел от него с острым и горьким чувством своего бессилия перед этим детским горем.

Побывав около пристани, я направился в госпиталь побеседовать с бойцами.

Во всех классных комнатах, превращенных в палаты, было полно раненых и истощенных, вышедших из продолжительного окружения. Я надел чистый белоснежный халат и с разрешения начальника госпиталя ходил по палатам и заводил беседы с теми, кто был сравнительно легко ранен и кто более охотно вступал со мной в разговоры. Рядовые бойцы не сведущи в вопросах общей фронтовой обстановки, но они знают много подробностей и в разговорах не скупятся на критические замечания. Я многое узнал от них о серьезных недочетах, о допущенных ошибках, и все это пригодилось мне для моих донесений по телеграфу. Но охотнее всего рассказывали о себе—где и как ранило, как помогают лекарства.

Один разговорчивый и не лишенный остроумия боец рассказал, что он карел, уроженец Олонецкого района,—Ферапонт Ефимыч Родинов поступил добровольно в партизанский отряд; рана, хотя и не из легких, но меньше всего его беспокоит.

— Тревожусь за жену,—говорил Ефимыч,—не успел жену вывезти. У финнов осталась. А рана чепуха, при хорошем лекарстве да уходе заживет.

С соседней койки тяжело раненый партизан с раздробленной выше левого колена костью скептически заметил:

— Не очень-то верю я молодым лекарям; многие курс не закончили, на войну попали, опыта нет...

Ефимыч, поскольку ему позволяла рана, приподнялся на койке и, поддерживая этот разговор, поведал такую историю:

— Да, земляк, врачевание—наука серьезная. Особенно в военное время. Да и в мирное—тоже. Я тебе скажу, что эта наука до чудес дошла. Конечно, врач врачу рознь. Так же, как и сапожники или молотобойцы. Все зависит от смекалки. От своего ко-

телка. У кого как варит... Расскажу про одного профессора, главного врача медицины. Дело было у нас в селе. Один мужичок лю неопытности попил из пруда сырой водички и проглотил лягушонка. Ладно, хорошо. Проглотил и, кажется бы, дело с концом. Только нет. Этот лягушонок застрял у него как-то в мозгах и вырос в жабу. И от этого факта мужичок стал злой, сильно раздражительный, что ни слово, то и мат. Посоветовали ему в город поехать к профессору, главному врачу по черепным коробкам. Тот постучал ему молоточком по голове и видит в чем дело: надо усыплять мужика. Усыпили. Спилил ему профессор медицины с головы верхушку, глядит, а лягушонок уже вырос в крупную жабу. Сидит эта жабища и за мозги лапками держится. Ежели ее руками снимать, то может она лапками ухватиться и сотрясение мозгов произвести, и от этого смерть последует. Профессор был смекалистый. Он взял зеркало и направил на жабу. Вот та гляделась, гляделась и стала исподтишка лапками перебирать, а профессор под нее тихонечко газету подсовывать. Подсунул и снял на газете. Вылечил. Тот человек и посейчас у нас в селе живет. Только заговаривается малость. И на войну его не взяли... Может быть, это и не так было. За что купил, за то и продаю...

— Неплохо вылечил!—смеясь отозвался я на рассказ Ефимыча и спросил:—Вы, Ферапонт Ефимыч, наверное, любитель сказки рассказывать?

— Эге! Копните-ка меня поглубже, из меня как из мешка посыплется. Таких вралей, как я, больше в Олонецком районе не осталось... Будет время, заходите. Дело на поправку пойдет, язык развяжется; удержу не будет. Только знай слушай да записывай...

Раненные хохотали. Ефимыч, довольный, посматривал на всех.

#### 4. НА ЛИНИИ ФРОНТА

От Вытегры на командный пункт дивизии увертливый «газик» доставил меня через два часа.

Наши части занимали оборону в смежных деревушках. Население эвакуировалось—кто в глубокий тыл, кто в ближние леса. Многие вступили в местные партизанские отряды и вместе с бойцами Красной Армии сдерживали напор врага.

Домик, в котором приютили меня, значился в населенном пункте под № 22 и был занят взводом бойцов. В обыкновенной пятистенке чувствовался еще след полнокровной жизни северного крестьянина, хотя хозяина с домочадцами здесь и не было. В горнице в углу висела без внимания никем не тронутая икона

«всех скорбящих радость». Под ней стоял куст терновника. Судя по свежести листьев, за ним кто-то заботливо ухаживал. Над печкой на потолке скучились тараканы.

В соседней комнате, на плащпалатках, раскинутых на полу, отдыхали свободные от несения караульной службы бойцы; изпод байковых одеял торчали крепкие с железными подковами сапоги.

— Вот так и живем,—заговорил простуженным голосом майор Клунев, ленинградский парень, крепкого сложения, с увесистым маузером, свисавшим до колена.—Сегодня здесь, завтра там. Нечего греха таить, потрепаны мы в отступательных боях основательно. Командир у нас—генерал Грозов—тоже ленинградец, прекрасный человек, хороший товарищ, рассудительный и твердый командир. Он заявил, что с этих рубежей мы назад не сдвинемся, а вперед пойдем, когда укрепим.

«Уж мы пойдем ломить стеною,  
Уж постоим мы головою  
За Родину свою»...

продекламировал Клунев.

За едой Клунев с жаром и горечью рассказывал о том, как их соединение за Петрозаводском с боем выходило из окружения. Между прочим, он рассказал, как на днях местные партизаны поймали кулака Демина, приехавшего с места поселения. Демин хозяйским глазом осматривал конфискованный у него дом с постройками, радовался приближению финнов и немцев и угрожал колхозникам долгожданной расправой.

— Ну, мы таких не милуем. Поймали и в трибунал. Да, если вас интересует, я предоставляю вам возможность участвовать в допросе пленного летчика эсэсовца, и вы почерпнете кое-что интересное. Может быть, еще по чарочке?—спросил Клунев.—Водка есть...

В это время со стороны противника начался артиллерийский и минометный обстрел. Снаряды полевых орудий и мины рвались то с оглушительным треском, то с визжащим хлюпаньем и посвистом. Я выглянул в окно, чтобы заметить вспышки разрывов и определить до них расстояние.

— Ничего страшного,—успокоительно заметил Клунев,—днем не пристрелялись, ночью будут зря переводить снаряды и мины. Если устали, ложитесь спать... на лежанку. В случае чего нас разбудят...

Не раздеваясь и не снимая сапог, майор положил маузер под голову, лег на деревянную кровать, притаившуюся за пустым шкафом и через несколько минут захрапел. Я сел к окну и облокотился на подоконник. Легкой, чуть заметной изморозью подер-

нулись стекла в раме. Узкий, острый месяц выглянул из-за леса, окаймлявшего южную оконечность Онежского озера, и быстро спрятался в тучке, должно быть решив, что при свете взлетающих и падающих ракет ему и делать нечего. Со стороны озера доносились отдаленные звуки орудийной стрельбы нашей флотилии. На улице деревушки, несмотря на позднюю ночь, заметно было сильное оживление: подходили с погашенными фарами грузовики, с них на подводы перегружались мешки, ящики, бочки, затем все это быстро и бесшумно исчезало в ночной мгле. Вдруг над деревней с воем пронесся снаряд, другой, третий, они разорвались неподалеку в поле. Еще один угодил поблизости—на задворках в гуменик. У меня зазвенело в ушах. Под окнами медленной походкой прошли два патрулирующих бойца.

Опять где-то вблизи треснул снаряд. Напротив в избе звякнули стекла. Я инстинктивно дернулся за простенок. «Что это—трусость или осторожность?»—спросил я сам себя и не знал, что ответить.

Бойцы в комнате проснулись, приподнялись с полу и лавок.

— Гадюка, сыпет и сыпет, хоть бы трошки заснуть дал.

— Опять беспокойная ночь,—зевая и свертывая цыгарку, проговорил очнувшийся Клунев.—А вы так и не ложились?—спросил он.

— Нет.

— Привыкните. Ничего, сон свое возьмет. Сходите на улицу, проветритесь, крепче тогда уснете,—предложил Клунев,—только далеко не отлучайтесь.

Надев шинель и взяв винтовку из пирамиды, я вышел подышать свежим воздухом.

В темных переулках суетились связисты, стояли наготове санитары. Поскрипывали колеса повозок, вздрагивали заведенные моторы автомашин. Обстрел прекратился. Пройдя вдоль деревни, я спустился вниз с угорья к мосту; там, за бурливым ручьем, на холме начиналась другая, смежная деревушка. Она была темна и от безлунья молчалива. В одной из избенок предательски светился огонек, резко просачивавшийся сквозь прозрачную маскировку. Я пошел на огонек.

В избе под самым потолком ярко светилась лампа. В углу за столом в этот неурочный, поздний час сидела девушка, накинув на плечи большой теплый платок. Она угрюмо и рассеянно взглянула на меня и взялась за книгу.

— Гражданка, у вас маскировка не в порядке. Вот это окно сильно просвечивает...

Скрипнули полаты, и меня поддержал раздавшийся сверху грубоватый женский голос:

— Нюрка, ты чего, дьявол беззаботная, не спишь и не блю-  
дешь маскировку...

Девушка захлопнула книгу, нервно сдернула с плеч платок и приткнула его двумя гвоздями к верхнему косячку.

— Ну, вот, давно бы так. Вы кто такие будете?

Девушка вместо ответа раскрыла книгу и, насупившись, сделала вид, что погрузилась в чтение. Голос с полатей ответил за нее:

— Мы-то здешние, а она приезжая. По земельной части, окопы рыли...

Я не стал больше расспрашивать, вышел на улицу и снова с угорья спустился к мосту. Позади во мраке ночи чуть заметно выделялись силуэты мужицких изб. Они были видны только из низины; издали же казались чуть заметными бугорками, плотно прижавшимися к родной земле.

Почти всю ночь в этой непривычной обстановке я провел без сна. Утром два бойца привели девушку. Они задержали ее на рассвете при попытке перейти на сторону противника. Я сразу узнал ее. Это была ночная любительница чтения. Наши взгляды встретились. Она опустила глаза.

— Ваша фамилия?—отрывисто спросил Клунев.

— Демина.

— Позвольте, вы дочь приехавшего с поселения кулака?

— Хотя бы...—лениво ответила девушка.

— Так, так,—задумчиво промышчал Клунев,—отведите ее, товарищи, в соседний дом к военному следователю Горелику.

...Днем, закрывшись в горнице, Клунев через переводчицу допрашивал пленного обер-ефрейтора Иоганна Гайслера.

Молодой, белобрысый, с полуоткрытым ртом немец, оказавшись в плену, делал вид, что он стал, наконец, кое-что понимать.

На все вопросы он отвечал сразу, с готовностью.

Внешне он походил скорей на обшипанного индюка, нежели на обер-ефрейтора, награжденного Железным крестом второй степени. Нетрудно было догадаться, что этот крест он получил не зря. Неизвестно, какие он произвел разрушения на нашей земле и сколько жертв числилось в его послужном списке,—но они были.

Во время допроса дверь в горницу распахнулась, и в сопровождении адъютанта вошел генерал Грозов.

Присутствующие встали. Клунев отрапортовал:

— Разрешите доложить, товарищ генерал-майор, допрашиваем фрица...

— Уведите его,—кивнул генерал в сторону пленного.

Выглядел Грозов утомленным, но в разговоре и движениях не терял живости. На вид ему было лет пятьдесят. На нем была

обычная солдатская шинель с петлицами, обыкновенная, хлопчатобумажная пилотка, немного помятая, высокие, выдавшие грязь, сапоги.

Поговорив о разных неотложных делах, касавшихся Клунова, Грозов вкратце познакомил нас с обстановкой на здешнем участке фронта.

— Можно сказать безошибочно: план Маннергейма—соединиться с немцами в районе Тихвина и таким путем окончательно блокировать Ленинград,—план этот не прошел и не пройдет. Мы здесь сумеем задержать противника, если он еще и попытается итти в наступление. Одновременно будем вести тщательную подготовку с расчетом на длительную оборону. Правда, отдельные незначительные группы финских автоматчиков кое-где еще просачиваются в районе Подпорожья. Но эти недоразумения продлятся еще день—два, так как, между нами говоря, сюда подходит полнокровная стрелковая дивизия. И тогда все будет закрыто, безопасность обеспечена.

— А когда мы будем наступать?—спросил Клунов.

— При двух условиях,—усмехнулся в ответ генерал,—когда будем готовы к наступлению и когда прикажут перейти в наступление. А готовиться будем и бить будем наверняка. Кстати, могу порадовать: сегодня к нам в соединение прибыл «Дуглас», груженный автоматами. Глядишь, ребятам веселей будет...

## 5. В ТЫЛ ВРАГА

— Соглашайся работать моим заместителем!—обратился однажды ко мне Клунов.—Зачем тебе возвращаться в Архангельск?

— Как это так?—возразил я.—Ведь я же тут в командировке, обязан вернуться, доложить.

Клунов слушал меня с улыбкой и, как мне показалось, расценил мои соображения по-своему: «А не трусишь ли ты, батенька мой? Мы за три месяца столько горя хлебнули! Это не то, что по командировкам ездить...» Повидимому, он решил проверить свое мнение.

— Завтра ребята из разведроты совместно с партизанским отрядом пойдут обходом километров на двадцать в тыл врага. Хотя и испробовать полученные автоматы. Тебе бы не вредно с отрядом прогуляться!..—неожиданно сказал он с лукавой усмешкой.

— Надолго уходят?

— Нет, всего только на двое—трое суток.

— Хорошо, пусть меня включают, схожу,—согласился я.

— А если убьют?—засмеялся Клунов.

— Только однажды, а больше я им не позволю,—отшутился я и добавил серьезно:—Если это случится, то извести мое начальство, вот и все...

...Меньше чем через сутки отряд старшего лейтенанта Логинова выступил в путь. Шли мы дальним обходом через открытый левый фланг. Под ногами хрустел тонкий слой снега. Ночь была светлая, лунная. Наш отряд состоял из десяти красноармейцев-разведчиков и пятнадцати коммунистов партизанского отряда.

Все были молчаливы и сосредоточены.

Шли мы долго. Не буду описывать, как мы совершали этот далекий переход. Он показался мне бесконечным.

Наконец, старший лейтенант Логинов остановился. По его сигналу, мы встали около него полукругом. Логинов был коми по национальности, настоящий охотник по профессии, скупой на слова, но упорный и настойчивый человек. Он сказал:

— Судя по времени и по месту, мы вышли в район расположения вражеских тылов. Здесь где-то должны быть землянки фрицев. Немцы здесь воюют против нас руками финнов. Где опасно—туда суют финнов, а сами отсиживаются в тылах. Нам надо их обнаружить и нанести внезапный удар.

Отряд снова двинулся вперед. Шли осторожно, медленно, прислушиваясь. Но пока ничего не было слышно, кроме собственного дыхания и тихого поскрипывания мерзлого снега под ногами. Прошли еще два километра. И опять остановился Логинов и сделал знак рукой, чтобы все остальные застыли на месте. Он понюхал морозный воздух. Легкий ветерок откуда-то доносил еле уловимый запах дыма.

— Тихо! За мной!—и он, согнувшись, скользнул вперед. Мы вышли на просеку. Впереди, из-под валежника, занесенного снегом, просачивались в нескольких местах струйки дыма. Кое-где сквозь плохо замаскированные стекла чуть заметно просвечивал огонек. А в одном месте из-под земли слышался говор, смех и звуки губной гармошки.

— Стойте! Действовать нужно так,—быстро, отрывисто и четко начал говорить Логинов.—Тут всего десять землянок, часового не видно. Стало быть, фрицы уверены в безопасности. Десять бойцов из разведывательной роты с гранатами наготове пойдут за мной и каждый по одной, по две гранаты бросит в землянки. Старайтесь подойти ближе и бросать наверняка; в окна, в раскрытые двери, даже в трубы. Затем сразу же все мы отходим к той опушке и развертываемся, чтобы отрезать путь отступления фрицам, если они попытаются бежать или обороняться. Ваша задача, товарищи партизаны, остаться здесь и, как только мы отбежим в сторону, к опушке, открыть автоматный огонь по переполошенным немцам. Вот так... Ясно?

— Ясно!—тихо ответили голоса. Кто-то спросил:—Можно и противотанковой ахнуть?

— Воздержитесь, пока пользуетесь гранатами эф-один. Приготовьте гранаты.

— Есть.

— За мной, к землянкам!

Прошла минута.

Один за другим раздались взрывы ручных гранат. Я успел насчитать до пятнадцати разрывов. Из землянок послышались неистовые крики, одиночные выстрелы. Затем, поспешно, кто ползком, кто на четвереньках, кто в шинели поверх белья, а кто и в одном белье, выскочили обезумевшие немцы. Луна осветила их серые, перекошенные от испуга лица.

— Огонь по гадам!—скомандовал Логинов громким голосом и первый нажал на спусковой крючок ППШ. Враз все наши пятнадцать автоматов застрочили короткими прерывистыми очередями. Стреляли почти в упор, без промаха. Люди, еще не привыкшие воевать, сами дивились быстроте, с которой все было окончено. Убитых и тяжело раненых немцев, лежавших вповалку на окровавленном снегу, не считали. Забрав несколько вражеских винтовок, какие-то бумаги, сумки, наш отряд быстро пошел обратно, изменив свое направление, чтобы на старом следу не нарваться на возможную засаду противника... Мы не понесли никаких потерь.

## 6. ВСТРЕЧА С ОКРУЖЕНЦАМИ

К утру начал моросить мелкий дождь. От вчерашнего снега не осталось и следа. Итти было скользко и сыро. Логинов часто посматривал на компас, на карту и, видя, что бойцы утомились дальним переходом, обещал вскоре устроить трехчасовой привал. Но для этого нужно было выбрать безопасное место.

Вдруг, шедший впереди дозор доложил Логинову, что в лесу замечен свежий след двух человек, как видно по следам, обутых в русские солдатские ботинки.

— Надо их догнать, задержать и выяснить, кто они,—распорядился Логинов.

Догнать и задержать неизвестных не составило большого труда. Это оказались два бойца, крайне усталых, голодных, заблудившихся в лесу. Они козырнули мне и Логинову и, не зная, который из нас старший, наугад почему-то обратились ко мне:

— Товарищ командир, от своих мы потерялись, истощали, не знаем, куда дальше податься...

— Покажите ваши документы, кто вы?—строго сказал Логинов.

— Документов нету. Порвали. Думали на финнов наскочим. А винтовочки сберегли. Поржавели только малость.

— Мы заплутали крепко,—начал объяснять один из них, который, как видно, считал себя более бойким на язык,—пошли мы в разведку и нарвались на финнов. Бились, бились, осталось нас шестеро. Мы вот с ним от своих отстали. Глядим, думаем—пни серые перед нами, оказалось, немцы подстерегают. Мы залегли, потом ушли, да так восемнадцать дней и ночей бродили в полном округлении...

— Ну и вояки!—покачал головой Логинов.—Становитесь в наш отряд, и чтобы ни на шаг не отставать.

Усталость одолевала отряд. Учитывая это, Логинов, выводя нас бездорожным, окольным путем, внимательно присматривался к местности, выбирая где посуше, а главное безопаснее и можно устроить привал. Наконец, он нашел такое место: возвышенность, поросшая густым лесом, по сторонам отлично просматриваемые, к тому же непроходимые болота; позади узкое, поросшее кустарником междуозерное дефиле, а впереди, за чащей леса, далеко идущий хмурый, безлюдный бор. Проверив по карте расположение отряда и начертив на ней дальнейший путь следования, Логинов сказал:

— Вот здесь будет привал! Можно отдохнуть в лесочке часа три—четыре, закусить, выжать, просушить на ветерке портянки. Но костров не разводить.

Затем он выделил сторожевое охранение, лично расположил посты, выбрав для этого удобные складки, бугорки, ложбинки, и каждому бойцу, выделенному нести охрану, показал секторы наблюдений. Логинов договорился со мной спать по очереди, с расчетом, чтобы через полтора часа проверить и сменить новым нарядом бойцов сторожевое охранение. Раскинув на мокрой траве плащпалатку, он заснул. Посмотрев на часы и заметив время, я уселся на пень и начал свое дежурство.

Вокруг установилась тишина. Дождик давно уже перестал. Солнце слегка пригрело промокшую землю. От мокрой одежды уснувших потных бойцов шел чуть заметный пар. Спустя полчаса, я решил проверить бдительность часовых. Они, борясь с дремотой, бодрствовали, не поддавались сну.

На одном из постов стоял Мухин, один из встреченных нами в лесу бойцов. Я подошел к нему.

— Не извольте беспокоиться, товарищ командир, идите отдыхайте, мы тут поглядим, как положено. А чуть ежели кто появится, так на мушку—и готово.

— Нет, так нельзя,—предупредил я,—зачем на мушку? Сначала ты, как заметишь, немедленно сигнализируй, потом вместе убедимся, кто там появился, и в зависимости от обстоятельств будем действовать. Спешить надо не торопясь.

Предупреждение Мухину оказалось не лишним. Вскоре он заметил примерно в километре слева несколько человек, барахтающихся в болоте. Мухин начал громко кашлять и махать рукой, чтобы кто-либо из нас услышал или заметил. Все его манипуляции не привели ни к чему; пришлось Мухину поднять испуганный крик, и тогда весь отряд проснулся и загремел оружием. Все рассыпались по команде, приготовились. Логинов вскинул бинокль и увидел четырех человек, идущих в нашу сторону.

— Нет, это не противник, это всего скорей наши блуждают,—проговорил Логинов, не то обрадованно, не то разочарованно, и предложил бинокль Мухину. Тот долго вертел его перед глазами, долго нащупывал то место, где показались люди и, наконец, заулыбался.

— Мать честная! Как на ладони. До пупа в грязи купаются. Ну, конечно, наши, те самые, мы от них с Вахлаковым третьего дня отстали. Вон и старшой среди них, в рыжей жеребьячей тулупе...

Мухин не выдержал, крикнул:

— Эй! Живей, дьяволы!—но, отняв бинокль от глаз, убедился, что голоса его они не слышат.

Уставшие люди долго карабкались по болоту, то прыгая с кочки на кочку, то увязая по пояс в зыбком торфе. Обессиленные, они вышли, наконец, к привалу и присоединились к нашему отряду. Старший из них—доброволец из Ленинграда, по профессии инженер-теплотехник, чувствовал себя подавленным, ссылаясь на свое неумение воевать.

Между тем, Логинов распорядился накормить присоединившихся к нам бойцов, а я, собрав полную флягу водки, поделил ее поровну между ними. Бойцы немного ожили. Теплотехник рассказал о том, как они брели из-за Олонца ни путем, ни дорогой, обходили тракты и карельские деревни, чтобы не нарваться на финнов, как они ночью на бревнах переплывали Свирь, как в пути они съели целую лошадь без хлеба и соли. Рассказал, что немцы и финны отделяют русское население от карел; русских, всех поголовно, гонят в лагеря за колючую проволоку, а с карелами заигрывают, хотят сделать их ручными и даже вербуют в свою армию...

После отдыха отряд двинулся дальше в сгустившихся сумерках. Еще одну лунную ночь провели мы в лесах Подпорожья, а на утро безошибочно вышли к речке Оште.

## 7. НА ОНЕЖСКОМ ОЗЕРЕ

...В тот день разразилась снежная буря. Онежское озеро забушевало. Мелкие корабли военной флотилии, укрывшись за мысом, стояли на якорях. Утром погода была тише, и снегопад не мешал тогда видеть и обстреливать объекты, где, по данным воздушной разведки, находился противник. Корабли не раз подходили шквалом к берегу, занятому финнами, и вели обстрел. Среди дня это стало уже невозможно из-за плохой видимости и боковой качки, которая мешала прицеливанию.

Люди отдыхали, накапливая силы на завтрашний день. Палубы, покрытые брезентом, легкие орудия,—все сплошь залепило снегом.

Мы сидели втроем в одной из четырехместных кают. Политрук Иванов готовился к докладу об Октябрьской годовщине, я, вот уже четвертые сутки пребывающий на судне, от нечего делать перечитывал бессмертные похождения бравого солдата Швейка. Третьим нашим спутником был моряк, неунывающий песенник Захарченко. Он тренькал на гитаре и пел:

Синенький, скромный платочек  
Немец в деревне украл.  
В ненастные ночи,  
Осенние ночи  
Шею он им прикрывал...

Сквозь крепко-накрепко закрытый иллюминатор, к тому же завешенный вешевым мешком, глухо доносился неумолчный рокот взволнованного озера и унылый посвист разгулявшегося ветра. Я отложил книгу на столик и невольно сказал:

— Ну и погодка на дворе! Да и двор у корабля такой, что дальше палубы не выйдешь. Хошь не хошь, а слушай всю эту вьюжную музыку...

Неугомонный Захарченко продолжал:

...Накинув платочек,  
Сожмется в комочек,  
Подохнет фашист под Москвой...

За иллюминатором редела и выла стоголосая вьюга. Вдруг на палубе раздался винтовочный выстрел—сигнал вахтенного. Мы опрометью бросились наверх. Вахтенный в брезентовом плаще с капюшоном показывал помощнику капитана в сторону Заонежья:

— Вот там я заметил что-то вроде лодки. Кто-то со стороны финнов: или беглецы или разведка...

В вечернем полумраке сквозь метель было трудно разглядеть что-либо. Все смотрели в ту сторону, куда показывал вахтенный,

однако лодки никто не видел. Да и кто бы мог осмелиться в такую непогоду переправляться через Онежское озеро в лодке.

— Кто же, глядя на ночь, в такую бурю станет рисковать своей жизнью?—усомнился помощник капитана, низкорослый толстяк.—Уж не померещилось ли вам, товарищ вахтенный?

— Ни в коем разе,—ответил тот. И как бы в подтверждение его слов откуда-то из бушевавшего озера донесся чуть слышный крик: «Братцы! Спасите!..»

— Поднять якорь!—распорядился капитан. Через минуту средним ходом монитор двинулся вперед. Мутноватым лучом рефлекторы нащупали лодку. В ней был только один человек. Лодку бросало из стороны в сторону. Опять долетел крик, вопль: «Товарищи!.. Помогите, погибаю!..»

Мы подошли вплотную. С палубы монитора был спущен трап. Два матроса втащили на руках посиневшего, промокшего до последней нитки пловца. Первым делом его опустили в кочегарку, отогрели, высушили и накормили. Двести граммов водки окончательно воскресили его.

Возбужденный и радостный, он принялся рассказывать нам обо всем, что он знал, что видел, пережил и передумал за эти дни.

— Товарищи, дорогие! Прежде всего—я коммунист. Яков Кузьмич, фамилия—Шлаков. Уроженец Кировской области, Котельничского района. Карелия—моя вторая родина. Давненько я работаю в Карелии.

— Где вы работали в Карелии до прихода финнов?—спросил капитан судна.

— Все расскажу досконально. Работал я там, куда посылала меня парторганизация. За пятнадцать лет жизни моей в Карелии, где только не был! Работал сначала на рыбных промыслах, в лесной промышленности, в бумажной. Работал я и по добыче белой слюды. С год трудился в каменоломнях: доставали так называемый диабаз для мощения улиц, занимались даже разработкой мрамора. Знаете ли вы, что лучшие здания в Ленинграде облицованы карельским мрамором! Там есть и мои плиты!.. Простите, что я немножко увлекся... А перед войной в Совнаркоме стоял вопрос о развитии черной металлургии в Карелии, и меня уже метили послать туда...

— Ну, хорошо,—осторожно перебил капитан Шлакова, подавая ему папиросу,—закуривайте и расскажите, кем и чем может быть подтверждено, что вы коммунист.

— Мои сослуживцы из Петрозаводска эвакуировались в Беломорск. Они подтвердят. Не знаю, насколько сохранился верхний листочек моего партбилета. Я его оторвал и спрятал под подкладку брюк. Разрешите ножичком распороть...

Шлаков торопливо и без всякой осторожности разрезал ножом в каком-то месте свои брюки, достал смоченный, свернутый комочек бумажки и, протянув его к свету, бережно развернул и разгладил ладонью. Фотокарточка отклеилась, да, кроме того, она мало напоминала теперешнего Шлакова. На снимке он был бритый, значительно моложе, в рубашке с воротничком и галстуком, теперь же перед нами стоял вроде не тот человек. Староватое, исхудалое морщинистое лицо с кровоподтеками, круги под глазами, поцарапанный нос, борода и усы, не выдавшие бритвы, по крайней мере, недель пять, затасканная косоворотка с оборванными пуговицами. Видно, ему туго пришлось.

Но на страничке партбилета номер, печать и все записи были отчетливо видны.

— Ну, хорошо, продолжайте рассказывать, а мы послушаем.

— Дело вот как было. Из Петрозаводска мы эвакуировались в последнюю очередь, погрузились на баржу № 463. Нас потянул за собою пароход «Рошаль», может, слышали такой? Баржа была переполнена эвакуированными служащими. И вот, то ли от злого умысла, то ли несчастная случайность,—пароход оказался на мели, ни взад, ни вперед. А на побережье, уже мы видим, финские войска идут и идут. Финны кричат нам: «Русс, сдавайся!» Было на барже у нас человек семь военных. Им финны кричат с берега: «Бросайте оружие! Отходите на палубе в сторону!» И против нашей баржи пулеметы выставили. А всего-то до нас метров сто, не больше. От смерти, видим, бежать некуда. И тут, вдруг один военный бросил за борт винтовку, поднял руки и крикнул: «Сдаемся!» Только и успел он крикнуть. Другой военный в тот же миг сразил его на смерть штыком и сказал, это мы все слышали: «Большевики живыми не сдаются!» И все шестеро военных бросились на корму баржи и спустились в шлюпку, что была за кормой. Попытались они податься в озеро. Но где там!..

Шлаков махнул рукой, на глазах его выступили слезы.

— Всего метров полсотни отплыли они от нашей баржи. Из трех пулеметов финны подняли такую стрельбу!.. Все шестеро погибли...

— Потом нас, гражданскую публику, заставили высадиться на берег. И тут начали шерстить: женщин, детей, стариков отправили обратно в Петрозаводск, там создают для русских лагеря... А меня и еще нескольких человек из служащих посадили в сарай и весь месяц таскали на допросы. Били не раз, дознавались, кто остался из коммунистов. Били крепко, чем-то вроде шанга; можете глянуть,—по всему телу синяки да волдыри. Вижу, рано или поздно дознаются через кого-нибудь и вообще в лучшем случае лагеря не миновать, а в худшем—смерть. И стал я

примечать, каким бы способом вырваться от них, сбежать. Деревня, где нас содержали под строгим надзором, как раз стоит на берегу этого озера. Когда меня водили на допрос и с допроса, я приметил несколько лодченков, вытасненных на берег. И я надумал пуститься в лодке через озеро. Но когда? Легче и проще всего бежать ночью, но по ночам нас не выпускали никуда. Решил я бежать в непогоду, в сумерки. Присетил около одной избы весла. Решился. Будь что будет! Погибну, так погибну, что я теряю?.. Сегодня я носил воду для мытья полов. Долго носил, и все к озеру присматривался. Бурлит, шумит—в доброе время подойти бы страшно, а тут никакой боязни. Схватил весла, спихнул лодку с берега, и закачало меня на волнах. Снег крутит. Минут через десять, не больше, я уже не видел берега. Одного боялся, как бы не сбиться, не пойти вдоль озера, да не выбиться из сил. Озеро бушует и бушует, лодку бросает, как щепку, заплескивает. Воду выкачивать нечем, догадался снять сапог. То воду им черпаю, то снова берусь за весла. И чего только я не передумал? Всю жизнь до последних мелочей вспомнил. О чем бы ни думал, а желание жить подсказывало одно: «Держись, товарищ Шлаков, ты еще пригодишься Родине. Тебе еще работать в освобожденной Советской Карелии!..» Руки, посмотрите, измолил до крови; весла вываливались—не могу... А сознание не теряю, духом не падаю. Сознание мне говорит: «Ты, товарищ Шлаков, через не могу добейся!» И вот добился. Не знаю, что было бы дальше, если бы не вынесло сюда...

— Вы были целый месяц у противника. Что вы заметили характерного, интересного в военном отношении?—спросил я.

— Я, конечно, не специалист в военном деле,—подумав, отвечал Шлаков,—но кое-что заметил. Вдоль той деревни, где я пробыл с месяц, проходит Шелтозерский тракт. По тракту в сторону Вознесенья пешими и на грузовых машинах, по словам жителей, прошло не менее пяти тысяч войска, провезли десятка два пушек или минометов. Сам я видел, как сотни четыре финских автоматчиков прокатили на велосипедах. Ну, что еще? На допросе однажды финский офицер раскричался на меня: «Куда, говорит, вы бежите из Петрозаводска? В Вытегру? Мы и Вытегру займем! В Пудож? И Пудож займем! До Вологды, дальше, до Урала будет великая Финляндия!..»

А я думаю: «Не много ли будет, не подавитесь ли, сволочи»...

В штабе, где меня не раз допрашивали, я приметил—висит карта: ниточка фронта проходит от Лодейного поля до Свири, пересекает Свирь и загибает на Ошту. А дальше, с юга и с северной оконечности Онежского озера у них нанесены на карте зеленые изогнутые стрелы с двух сторон, показывающие на Пу-

дож, а с Пудожя заштрихованная, бледная, но большая стрела вбивается через Каргополь в Северную железную дорогу между станциями Няндомой и Коношей. Я, по своему разумению, понял это дело так: финны и немцы задумывают выскочить с двух сторон за Онежское озеро и отрезать северные порты Мурманск и Архангельск, оба сразу. Не знаю, может быть, я ошибаюсь. Я не военный человек. Вам видней...

Затем Шлаков назвал несколько прибрежных деревень Заонежья, в которых находились финские части и их склады. Этим сообщением особенно заинтересовались капитан монитора и политрук. Они развернули карты и карандашом сделали на них пометки.

Шлаков долго еще рассказывал, вспоминал пережитое.

На другой день, когда установилась погода, я вылетел на самолете на восточное побережье Онежского озера, где были отдельные запасные опорные точки.

Мониторы, пользуясь благоприятной погодой, выходили на операции, совершали огневые налеты на пункты, занятые противником.

В районе Свири и Ошты крепла оборона. Враг был задержан. К нашим оборонительным позициям подходили свежие силы. Положение на здешнем участке с каждым днем становилось крепче и надежнее.

...На обратном пути я заехал к Клуневу. Было раннее слегка морозное утро. Связной топил железную печку, Клунев сидел на постели, одна нога его была обута, второй сапог он держал в руке. Глядя на карту, он сказал мне:

— Черт побери, когда же, наконец, прекратим мы отступление? Что ни день, то и известие об оставлении городов.

— Ты слушал по радио речь товарища Сталина шестого ноября?—спросил я.

— Нет,—ответил Клунев,—вот жду, не дождусь никак свежих газет. Обещали сегодня на самолете доставить.

— А я слышал. Специально заходил на узел связи.

И я рассказал Клуневу о речи товарища Сталина. Клунев жадно слушал, досадовал, что я не мог запомнить каждое слово, спрашивал снова и снова.

Он еще не успел одеться, как постучали в дверь. Письмоносец принес свежие центральные газеты. Мы торопливо развернули их. На первой странице речь вождя и фото: на трибуне мавзолея в окружении своих соратников в хмурое, снежное ноябрьское утро Иосиф Виссарионович принимает традиционный парад Красной Армии. Мы с волнением переглянулись.

— Жива, брат, наша сила!—сказал Клунев, хлопнув меня по плечу.

Потом мы долго и внимательно читали и перечитывали великую сталинскую речь.

Днем дружески, быть может навсегда, распрощавшись с Клуновым, я уезжал в Вытегру.

## 8. СНОВА НА ФРОНТ

После этой командировки еще три—четыре месяца пришлось мне пробыть в своем городе.

Снова и снова просился я на фронт.

Наконец, меня вызвали в отдел кадров и объявили об откомандировании, сообщив при этом, что мне присвоено звание капитана.

Стоял конец апреля 1942 года.

В городе на мостовых и на деревянных тротуарах лежал подтаявший грязноватый снег. Северная зима отступала. Днем уже пригревало солнце. Серый лед на Двине приподнялся. По вспаханному ледоколами руслу могучей, но пока еще спящей реки передвигались морские транспорты, раскрашенные под цвет арктических льдов. На палубах судов торчали жерла зениток, приподнятые и как будто всматривающиеся в голубую предвесеннюю высь.

С утра я неспеша собрался в путь-дорогу. Уложив все необходимое в вещевой мешок, я взял еще четыре томика книг: поэмы Пушкина, Тарле—о 1812 годе, «Избранное» Вольтера и томик Плеханова об искусстве.

Жена пересмотрела взятые мною книги, пожалала плечами, удивившись такому причудливому подбору и, обращаясь к сыну, сказала:

— Феликс, ну-ка выбери папе на свой вкус книжку в дорогу на фронт, чтоб он читал и тебя вспоминал.

— Это я могу!—бойко отозвался сын и, подставив к шкафу табуретку, достал с верхней полки «Чапаева» в красном коленкором переплете.

Близкие проводили меня.

Мы расстались на Двине у кромки льда. Тяжелый ледокол шел по фарватеру реки.

По доскам, наскоро переброшенным через ледяные глыбы, я перешел на противоположную кромку льда, обернулся, помахал шапкой жене и сыну.

Через четыре часа я доехал до станции Обозерской. Там пересел в мурманский поезд и залег спать.

Утром я проснулся. Поезд шел по железнодорожной ветке Обозерская—Беломорск, построенной незадолго до войны.

После того как наши войска оставили Петрозаводск, эта ветка была единственным путем, соединявшим фронт с центрами страны.

Северная весна началась. Деревья стряхивали с себя остатки снега, на березах, ивах и ольшаннике набухали и слезились почки. Неугомонно бурлили ручьи, на озерах, в серых водяных закраинах, дыбился приподнятый половодьем лед. Тянулись на север в арктические широты, на дальние острова и побережья первые караваны гусей, лебедей, уток.

В купе со мной ехало несколько бойцов. Голос одного из них показался мне знакомым, я стал внимательней всматриваться в черты его лица. И вдруг припомнил:

— А вот ведь это кто! Ефимыч! Здорово, дружище, помните в Вытегре я видел вас в госпитале.

— Как же, прекрасно помню. Вы тогда старшим лейтенантом были.

— Значит выздоровели?

— Давно, еще в декабре выписался. Да четыре месяца в запасном полку околачивался, военного разума набирался, а теперь снова—воевать.

— В родную Карелию?

— Да, к Карелии мне не привыкать,—отозвался Ефимыч,—сначала-то думал, как и в ту германскую войну, доведется в разных местностях побывать, города разные повидать, а выходит—нет. В своей-то Карелии сподручней. Только вот годы мои не те, ловкости бывалошной нет.

Поезд остановился.

— «Станция Нюхча»—прочел я на вывеске новенького бревенчатого вокзала.—Ну, как, Ефимыч, далеко еще до Беломорска? Что это за Нюхча?

— Далеконько, товарищ капитан. Часов шесть—восемь еще протолкаемся.

К вечеру поезд прибыл в Беломорск, единственный в своем роде городок на Севере. Его деревянные домики беспорядочно, как попало и куда пришлось, разбросаны на большом количестве речных островков, соединенных мостами и узкими переходами. Непрерывно, несмолкаемо шумели водопады реки, в устье которой расположился город.

Я получил назначение на Кестенгское направление, на север. Туда же поехал в числе небольшого пополнения и мой знакомый Ефимыч.

Ехали мы в теплушках «первой скорости», но скорость была условным понятием. Дорога была сплошь забита эшелонами с военными грузами. Предпочтение отдавалось санитарным «летучкам» и сверхскорочным поездом спецназначения; остальные по-

долгу задерживались около разрушенных бомбежкой станций и полустанков. По сторонам железнодорожного полотна там и тут зияли внушительные, круглые, как чаши, воронки от авиабомб. Земля была изрыта, словно поражена черной оспой, даже кармасы пролетов на мостах были пробиты осколками.

Станция Лоухи, когда-то благоустроенная, с новыми двухэтажными домами, складами, мастерскими и депо, теперь выглядела неприглядно: большинство домов было разрушено. Неподалеку от разбитых зданий валялись скаты вагонных колес, изогнутые дьявольской силой взрывов рельсы. С наклонившихся и расщепленных столбов свисали порванные провода.

Отсюда до переднего края было всего сорок километров,— так близко подобрался враг к Кировской дороге.

Ефимыч снова подошел ко мне.

— Я, товарищ капитан, бывал здесь до войны. А теперь подивитесь, что натворено! Ох, и обойдется немцу все это в копеечку. Ведь за все, за все немцам и финнам придется раскошелиться. Пойдемте-ка, товарищ капитан, я вам покажу «чудо» немецкой техники. Тут рядом в переулке я приметил.

— Посмотрим, что за чудо?—я свернул за Ефимычем в один из переулков. В куче железного лома, собранного отовсюду, лежала верхняя часть неразорвавшейся, обезвреженной немецкой авиабомбы. На ней черным по серому обозначено «С-1000». Это значило, что она весит одну тонну.

Между тем к шлагбауму, что на окраине станции, подходили одна за другой автомашины, грузовики, крытые фургоны, окрашенные автобусы, некоторые еще с сохранившимися надписями мирного времени: «Нарвская застава—Урицк», «Финляндский вокзал—Удельное—Парголово». Ленинград уступил часть своего транспорта Карельскому фронту.

— Товарищи! Кому на передний край, занимайте места в машинах!—оповестил пограничник с красной повязкой на рукаве.

Я забрался в сильно потрепанный, изрешеченный пулями и осколками автобус.

Взмах красного флажка в руке регулировщика, и колонна автомашин двинулась туда, откуда доносился глухой рокот артиллерийской канонады.

## 9. КЕСТЕНГСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Было время, когда войска эсэсовцев подходили к станции на пушечный выстрел. И тогда нависала серьезная опасность для Мурманского и Кандалакшского направлений, им грозило быть отрезанными от сухопутного сообщения с центрами страны.

Подоспевшая дивизия спасла положение. Боевая дивизия одной из первых получила звание гвардейской...

В конце апреля и в начале мая сорок второго года немцы снова пытались прорваться к Мурманску и одновременно к Кировской дороге на близком, более уязвимом направлении — Кестенгском. На этом участке фронта немецкое командование выставило отборные горно-егерские войска и эсэсовскую дивизию «Норд». Зимой у немцев шла усиленная подготовка к наступлению. Сам Гиммлер приезжал сюда инспектировать и инструктировать войска. Прибывали в Финляндию свежие подкрепления из опытных фашистских головорезов, прославивших себя грабежами и насилиями на Крите и в Нарвике.

Весной генерал Демельхубер по приказу гитлеровской ставки попытался пробиться к станции Лоухи, — перерезать Карельский фронт на две части. А генерал Дитл рассчитывал занять Мурманск. Из этих авантюрных планов ничего не вышло. Красная Армия перешла в контрнаступление и отбросила врага, нанеся ему тяжелые потери. Обе стороны зарылись в землю друг против друга. Лишь иногда возникали ожесточенные бои, не дававшие решающих результатов. А потом вновь наступало затишье с перестрелкой и активными действиями разведчиков на флангах, по тылам противника.

В разгар апрельско-майских боев 1942 года я прибыл к полковнику Дубольу, командовавшему бригадой. Бригада действовала в залитых весенним половодьем болотах, на правом фланге Кестенгского направления.

Где пешком, где на волокуше, запряженной лошадьё, усталый и весь мокрый, добрался я от шоссе до штаба бригады, расположенного в шалашах и палатках на лесистой сопке. Полковник Дуболь занимал искусно сложенный из еловых веток шалаш с отверстиями сверху, куда струился дымок от костра, разведенного внутри. Откинув плащпалатку, закрывавшую вход, я спросил разрешения войти, по-военному представился и кратко доложил, кем и зачем я сюда направлен.

Дуболь сидел перед костром на гладко спиленном пне и держал на коленях развернутую планшетку. Он поднял на меня узкие глаза и принял протянутую мною путевку. Быстро прочел. Продолжал рассматривать смятые, написанные карандашом донесения.

— Садитесь, — предложил полковник, — вот там чурка лежит, она у меня вместо дивана.

Сквозь полумрак и дымок костра я стал рассматривать этого выдавшего виды командира. На нем была поношенная каракулевая шапка-ушанка, на суконной гимнастерке по соседству с медалью «Двадцать лет РККА» сиял орден Ленина.

Рядом со мной сидел только что прибывший в бригаду капитан, человек лет сорока. Он, как я заметил, чуть-чуть волновался и молча курил подряд вторую цыгарку.

Закончив чтение бумаг и написав на них свои заметки и указания, полковник обратился к нему:

— А теперь, капитан Чеботарев,—так, кажется,—давайте поговорим с вами по душам.

Дуболь не спеша стал подробно его расспрашивать, где и когда родился, участвовал ли в гражданской войне, в качестве кого проходил военную переподготовку в мирное время, на какой должности и в каком учреждении работал, какое образование получил, где семья и как она обеспечена. Осведомился обо всем. Меня удивило, как подробно он все выспрашивал.

— Я думаю, товарищ капитан, послать вас временно командиром роты вместо одного выбывшего товарища. Рота слаженная, с большим процентом партийно-комсомольской прослойки. Обстрелянная не раз, а это очень важно, имейте в виду. Между нами говоря, я забыл спросить вас, а вы сами-то не побаиваетесь? Скажите прямо, положив руку на сердце...

И полковник испытующе взглянул на Чеботарева, затем на меня. Однако, Чеботарев уклонился от ответа.

— Значит стыдитесь сказать о себе правду? А вы?—обратился он ко мне.

— Да как вам сказать,—замялся было я, не зная как ему ответить на это.

— Да так, скажите откровенно,—настаивал Дуболь.

— От природы я не из трусливых, и в гражданскую на Северном фронте был, и в эту войну немножко в районе Свири и Ошты пороха понюхал. Не трушу, но что-то такое предчувствую. Когда, идя сюда, я увидел первых убитых, мне подумалось, что кто его знает, не сегодня-завтра, я сам буду так же лежать... И холодок по спине пробежал.

— Вот это плохо!—неодобрительно заметил полковник.—Мрачные настроения надо по боку! А вы никогда и мысли не допускайте, что вас могут убить. Не всех убивают. Смерть не страшна. Ведь, что значит предчувствие? Это не роковой подсказ о смерти, отнюдь нет. Поверьте мне, я на себе испытал. Предчувствие рождается в результате близкого соседства с опасностью. А на войне без опасности невозможно, никак невозможно. Привыкнете. На войне привычка—великое дело. Ну, и придется, возможно, хлебнуть горячего до слез—даром ничего не дается. Важно иметь непоколебимый боевой дух, сохранять его в самой, казалось бы, безвыходной, тяжелой обстановке.

Дуболь помолчал, подумал. Потом он вновь обратился к нам.

— Ну, как, отогрелись малость? Сейчас я позвоню командиру третьего батальона. Боец проводит, покажет.

Дуболь покрутил ручку полевого телефона.

— Алло! «Енисей»! Дайте «Сухону», алло, говорит «Байкал». Сейчас я направляю к вам двух товарищей, вновь прибывших. Да, да. Как там у вас? Постреливает... Будьте здоровы...

Он положил на ящик трубку и сказал:

— Сейчас вы пройдете налево в четвертый шалаш к комиссару бригады, познакомьтесь, встаньте на партийный учет.

— Товарищ полковник, вы обо всем расспросили, а партийные ли мы, не поинтересовались.

— Идите,—повторил полковник,—встаньте на партийный учет, а затем вас боец отведет в третий батальон. Разве я не вижу, что вы коммунисты? Желаю успеха!.. В чем понадобится моя помощь—обращайтесь. Чем могу—помогу. Будут сучки и задоринки—не утаивайте, так-то оно лучше.

Через несколько дней комиссар бригады, разговаривая со мной, между прочим поинтересовался:

— Каков наш Дуболь?

— Замечательный коммунист!—сказал я.

— Да, он опытный, чуткий, боевой командир и неплохой беспартийный большевик.

— Разве беспартийный?

— Да. Нынче ему исполнится пятьдесят лет,—на вид ему не дашь этого,—а в партию до сих пор не вступил. Я его знаю с первого дня войны: за Кандалакшей он получил ранение. Дважды с ним были в окружении. И каждый раз в трудной обстановке он пишет заявление: «Если погибну от вражьей пули, прошу считать меня верным сыном коммунистической партии». Человек замечательный,—заклучил комиссар,—и надо сказать, с ним очень легко работать.

В роте было всего семьдесят восемь автоматчиков. Молодые, задорные ребята, лыжники-северяне, сибиряки, некоторые из них до войны служили в Черноморском флоте. Они уже не раз ходили в распахнутых бушлатах в атаки и, показывая врагу полосатые тельняшки, вместо «ура» кричали «полундра»!

О том, что у нас на здешнем участке фронта есть моряки—отважные люди,—гитлеровцам скоро стало известно; недаром генерал Демельхубер поспешил обеспечить этот фланг более крупными и надежными силами. И тем не менее, бригада полковника Дуболя, через леса и болота, по тающему снегу, прорывалась в глубокие тылы врага на коммуникацию между Кестенгой и Окуневой губой, наносила противнику чувствительные потери. И тогда немцы стали стягивать сюда на фланг пехоту и артиллерию.

А пока шла автоматная и пулеметная перестрелка.

Однажды днем, когда рота была в перестрелке с наседавшим противником, неожиданно появился Дуболь. Опираясь на суковатую палку, прихрамывая, он шел и на ходу ко всему придирался, покрикивал. Он уже не казался таким добряком, каким я видел его несколько дней тому назад. Чеботарев даже на минуту смутился, соображая, как доложить полковнику обстановку и состояние своего подразделения. А Дуболь, не взирая на свист пуль, ковылял прямо к нам.

— Ага! Здесь новичок со своей ротой. Как дела?—заговорил Дуболь, еще не дойдя нескольких метров до места, где с биноклем в руке стоял Чеботарев, разговаривая с командиром первого взвода.

Чеботарев быстро шагнул в сторону полковника, отрапортовал:

— Разрешите доложить, товарищ полковник, дела не совсем блестящи...

— Что-о! Как вы сказали?..

— Убыль есть, а прибыли нет, товарищ полковник.

— Что за двойная у вас бухгалтерия, товарищ Чеботарев?—гневно спросил Дуболь.—О потерях в бригаде мне известно. Держаться до последнего! А там придет и подкрепление.

— Есть держаться до последнего!—твердым голосом ответил Чеботарев и уставился глазами на полковника.

— Вот так! Что это у вас там слева частят из автоматов? Надо короткими очередями, не более пяти пуль выпускать сразу. Иначе бессельная трата патронов. Учтите это... Где ваше место? А рота? Правильно!.. Взвод в резерв, здесь. Хорошо. Направьте туда (полковник показал рукой) комвзвода передать мое приказание стрелять только по цели и только короткими очередями. Бережно расходовать патроны.

— Есть!

— А что касается того, блестящи или не блестящи у нас дела, оценку нам дадут другие. Сегодня вот мы с товарищем допрашивали «языка». И что же? Против нас немчура вторую тысячу штурмовиков разменяла. Вот вам и сальдо—баланс!..

Дуболь удовлетворенно улыбнулся. Мы перешли в укрытие, представлявшее собою узкий неглубокий ров, перекрытый жердями и еловыми прутьями. С прутьев немилосердно капало за ворот, на шею, но никто из присутствующих как будто этого не замечал. Дуболь обо всем расспросил Чеботарева. Мы совещались около часу.

Уходя, полковник приказал Чеботареву держаться со своей ротой на занятом рубеже. Без приказа ни шагу назад...

В наскоро вырытых, продолговатых сырых ямах-ячейках между кочек и пней врассыпную лежали автоматчики. Ни обстрелы, ни бомбежки, ни холодная сырость снизу, ни дождь, ни мокрый снег сверху, ничто не смущало их. Они крепко держались за родную землю.

Положение в эти дни сложилось у нас тяжелое. То стрекот автоматов, то частые разрывы ручных гранат отчетливо доносились до командного пункта бригады.

Немцы все теснее сжимали нас.

Они действовали с трех сторон, окружая наши части. У нас выбыло из строя уже много бойцов.

К вечеру старательный письмоносец доставил почту. Его стиснули со всех сторон. Кто-то нетерпеливый достал из-за голенца финку и перерезал шпагат. Сургучная печать на фанерной бирке отлетела под ноги.

— Товарищи, не спешите, не хозяйничайте,—оборонялся локтями письмоносец,—всяк свое получит...

Долговязый старшина выкрикивал:

— Храпову!

— Подавай сюда.

— Веселову!

— Я Веселов, да посмотри, нет ли еще.

— Глову Николаю!.. Из Архангельска, от жены...

— Убит. Отсылай обратно.

— Как, инструктор-химик убит?

— Сегодня утром умер от тяжелой раны,—пояснил кто-то.

Горькое чувство охватило меня. Я слышал, что Глов находится где-то, а увидеть его так и не смог... Он был мой земляк и хороший знакомый. А вот уже и нет его...

Старшина продолжал выкрикивать:

— Святову!.. Открытка от тещи!

— Давай, не болтай!

— Иванову!

— Давай, потом передам.

— Не могу, тут написано в «собственные руки», где он?..

— В госпитале.

Я получил первые письма: два от жены и одно от сына... Кто был на фронте, знает, как радостно получать письма от близких, как много значат эти весточки.

## 10. ГИБЕЛЬ ДУБОЛЯ И АЗАРОВА

Наконец, пришел день, когда сомкнулось вокруг нас кольцо фашистских войск. Связь с тылами была перерезана. Усилился минометный обстрел по расположению бригады. Дуболь принял

решение—вырваться из кольца, немного отступить и закрепиться на новой позиции в ожидании подхода подкреплений. Но как прорваться! Сосредоточившись всеми остатками сил в одном месте, или же, пользуясь лесистой местностью, выходить из окружения в нескольких местах сразу? Обдумав создавшуюся обстановку, Дуболь сказал комиссару:

— Принимаю решение: выходить из окружения только организованно, одновременно в более слабом месте линии, занятой противником. Надо вмешаться в его порядки, смять и выйти вот сюда,—он ткнул пальцем в порванную карту и проговорил уверенно:—Здесь будет выгодная позиция... При выходе не допускать густых скоплений.

Начался прорыв. Разгорелся бой. Пули, простые и разрывные, звучно шлепались о стволы деревьев. Рвались мины, снаряды. Мы пробились. Но в разгаре боя сам полковник Дуболь—любимец бойцов и командиров,—был смертельно ранен. Пуля попала ему в живот навывлет. Двое крепких моряков несли его на носилках. Рядом шел комиссар, хмурый и растерянный. Он поглядывал на искаженное в предсмертных муках лицо полковника. «Не выживет. Вынести бы живого или мертвого...»

А Дуболь, сисясь приподнять голову, оглядываясь по сторонам, твердил:

— Выходите организованно, без паники... Берегитесь минометов... Поражаемость в лесу ничуть не меньше... Я отвоевал свое... Ты чего, комиссар, нос повесил? Занеси меня в список коммунистов. Бодрей... Бодрей, товарищи...

Комиссар взял его за руку и, шагая рядом с носилками, волнуясь, заговорил:

— За тебя, за жизнь твою боюсь, полковник!

— А что за меня робеть? Я не всех лучше. Вон какие молодые орлы погибают. Не зря. За дело великое, правое... Веселей, комиссар, веселей... мелкими группами. Патроны бережно...

И еще минут десять говорил он что-то, отрывисто и неясно. Потом стал звать кого-то, неразборчиво. Называл какое-то имя. Вскоре он затих. Комиссар дотронулся до его упавшей руки. Все было кончено. Дуболь умер.

Между тем, по его приказу, остатки бригады по-ротню, повзводно рвались сквозь кольцо окружения. Противник, из боязни нанести поражение своим войскам в такой сумятице, ослабил огонь, расступился. Выход завершился. В замкнувшемся кольце остались только убитые.

Мы заняли новый рубеж. Сюда подошел полк, которым командовал подполковник Азаров.

Получив приказ идти на помощь нашей бригаде, Азаров отлично понял, насколько серьезна задача, поставленная перед ним: с полком устоять против дивизии, занявшей стратегически выгодные опорные пункты на сопках.

Командование полагалось на Азарова, в его храбрости и умении воевать не сомневалось. Еще на Медвежьегорском направлении он со своим полком показывал чудеса храбрости, дерзко и неожиданно прорывался в тылы противника и наводил страх на немцев и финнов.

Ко времени прибытия на Кестенгу Азаров уже пять раз был ранен, о чем сам он обычно умалчивал. О храбрости его ходили легенды. Ему первому на Карельском фронте было присвоено звание Героя Советского Союза.

Развернув в боевые порядки свои подразделения, Азаров решительно повел полк в наступление. Немцы не выдержали, оставили ряд высот, отступили.

Сам он, не умеющий щадить себя, с наганом в руке шел впереди атакующих. В бою он получил еще три ранения. Ни на какие уговоры товарищей отправиться в медсанроту он не обращал внимания:

— Пока я жив, я не оставляю своих бойцов.

Перевязав раны, Азаров продолжал руководить боем, всюду шел впереди.

Участь полковника Дуболя постигла и его. Две вражеских пули прошли сквозь сердце героя.

Весть о смерти Азарова быстро облетела ряды бойцов. С удвоенной яростью азаровские храбрецы бросились на врага. Громовое, дружное «ура» неслось по лесу.

Враг был отброшен.

Еще долго после смерти Дуболя и Азарова в их адреса поступали добрые, ласковые письма от родных и друзей, долго вспоминали их бойцы и командиры.

Понемногу, день ото дня, я начинал привыкать к фронтовой обстановке, к повседневным схваткам с врагом.

В промежутках между боями и даже во время их, в лесу, где проходил фронт, неумолчно раздавался стук топоров, звон пил. Строились траншеи, землянки, блиндажи, дзоты. Противник посылал авиацию бомбить передний край строящейся обороны, пытаясь помешать нашим войскам закрепиться. Но оборона крепла. Выход к магистрали запирался на прочный замок: подходили по шоссе к линии фронта артиллерийские и минометные части. По обеим сторонам дороги, прячась в чаще леса, тарактели танки; появились загадочные «катюши». На посадочных

площадках, в земляных гнездах, под прикрытием ветвей, притаились наши самолеты.

Бойцы построили мне уютную, пахнущую свежей сосной землянку.

Через отдел укомплектования я разыскал Ефимыча, попавшего в дорожно-строительный батальон, и взял его к себе связным. Придя в мою землянку со своей неразлучной «трехлинейкой», двумя гранатами, противогазом и небольшим вещевым мешком, Ефимыч расположился у дверей на узких нарах, сделанных из трех дощечек. Первым делом он попросил:

— Скажите мне, товарищ капитан, про мои обязанности.

— Обязанности, Ефимыч, очень простые, и не тебе о них спрашивать. Ты солдат мозговитый, бывалый, а мне такой и нужен. Будь моим помощником и хорошим товарищем, а остальное все приложится...

— Постараюсь, товарищ капитан.

В первый же день он привел в надлежащий вид землянку. Промасленную бумагу в окошке заменил настоящим стеклом из кабины разбитой автомашины. К бездействовавшей до того печке приладил трубу, спуск в землянку и ее поверхность замаскировал прутьями. У письмоносца добыл несколько старых журналов, плакатов и вырезками иллюстраций заклеил стену, на которую падал свет из единственного оконца. Грубо обтесанный столик устлал газетами, сделал вешалку, сделал две полочки. Свой уголок отгородил натянутой плащпалаткой. Другую плащпалатку растянул под потолком, чтобы не капало, и затопил печку...

— В таких условиях воевать можно,—с удовлетворением заметил я, придя в натопленную землянку и почуяв запах разогретых щей.—Кажется мне, что мы здесь, Ефимыч, продержимся долго.

— Начальство больше знает,—скромно ответил тот.

Время шло. Оборонительная, позиционная война на Севере принимала затяжной характер. Редко, очень редко вспоминали в сводках Информбюро Карельский фронт.

В одном из своих фельетонов Илья Эренбург как-то сказал, что о Карельском фронте мало пишут, но много думают.

— Ничего, пусть думают. Придет время, заговорят,—успокаивали себя карельские фронтовики и делали свое дело.

Как и следовало ожидать, спустя несколько дней, немцы стянули на этот участок около двухсот орудий и минометов разного калибра. Началась и продолжалась около двух часов непрерывная, слившаяся в один сплошной гул, канонада.

Наши части отвечали тем же. Там, где густо падали снаряды и мины, лес был весь изуродован. Торчали одинокие расщепленные пни, валялись изломанные стволы деревьев, смешавшиеся с землей и торфом ветви, вывороченные корни. И весь этот лесной хаос в том месте, где немцы намечали прорыв, не столько способствовал, сколько служил препятствием продвижению их пехоты. После внушительной артиллерийской подготовки немецкие егеря пошли в атаку. Наши огневые точки, тщательно скрытые и прочно оборудованные, встретили их плотным огнем. Нивесть откуда появились на заранее подготовленных позициях застенчиво притаившиеся под брезентом «катюши» и впервые на здешнем направлении они подали свой рокошущий неподражаемый голос. И когда они заговорили, вся остальная беспорядочная музыка боя на короткое время стихла. Сотни снарядов-комет вперегонку понеслись в ближние тылы врага, где были стянуты его резервы. Прорыв немцам не удался...

Наша рота выходила с боем на разведку и захватила в плен двух «языков». Один из них был немец-штурмовик, другой—финн, легко раненный в мякоть ноги. Этот финн, когда его брали, дрался отчаянно. У него вышибли из рук винтовку, он успел вывернуться и, прихрамывая на подстреленную ногу, бросился к берегу озера и прыгнул с невысокого обрыва в холодную воду. Конечно, его можно было бы пристрелить, но требовалось взять живым. Сбросив шинель, за ним кинулся в воду Василий Власов, боец из морской пехоты, замечательный стрелок, отличный пловец и силач. Он вмиг догнал финна. Началось единоборство в воде. Рыжий финн не хотел сдаваться. Он усиленно барахтался, плескался, кричал и даже ухитрился больно укусить Власова за руку. Власов крепко выругался и, стиснув зубы, ударил его по голове. Тот сразу обмяк и, как на буксире, был доставлен Власовым на берег. Его обсушили у костра, перевязали сквозную, но легкую рану. Сначала финн робко озирался, вздрагивал, видимо, ожидая быстрой расправы. Но тот, кому он основательно запустил зубы в руку, теперь сидел у костра напротив, шутил и улыбался. Мало-помалу выражение боязливого ожидания стало исчезать с перепуганной физиономии финна. Но когда ему завязали глаза, он расплакался, полагая, что сейчас его поведут расстреливать. Переводчик-карел сказал пленному: «Русские пленных не убивают, не волнуйся. Из русского плена ближе до Финляндии, нежели из могилы, в которую толкают финнов немцы». В ответ финн улыбнулся и кивнул головой.

Его накормили жареной свежей лосятиной, дали выпить два раза по полтораста граммов и водворили на ночлег в землянку, где уже сидел обстоятельно допрошенный немец. Увидев немца,

финн стал ругать его. Затем он уселся поудобнее и запел. Вот перевод его песни:

...День прошел, ночь наступила,  
Немец подкрался к невесте моей;  
Как вор, подкрался к невесте.  
Где ты!.. Заступись, Маннергейм!..  
Немец оставит в наследство дитя;  
Кому это нужно наследство?  
Несчастный ребенок—последыш,  
Лучше б тебе не родиться!..  
Разве плохие солдаты мы были...  
Ах, девушки наши—суоми!  
Не вы ли, славясь любовью,  
Верны были до смерти нам.  
Смрадная жизнь наступила;  
Меньше становится нас,—  
Мы для земли удобрение,  
Во славу заклятых друзей...

Немец-штурмовик, видно, кое-что понял из песни и потребовал, чтобы финн перестал петь. В ответ на это финн бросился на него и, прежде чем часовой успел вмешаться, избил немца, до неузнаваемости изуродовав его физиономию.

## 11. РАЗВЕДЧИК ВЛАСОВ

К нам в батальон прислали снайпера—девушку Аню Афиногенову, крепкую толстушку с мужественным лицом.

Аня сидела в землянке у капитана Чеботарева и докладывала ему, что она прошла специальные курсы снайперов и теперь направлена сюда для прохождения службы.

— Очень хорошо. У нас тоже есть неплохие стрелки,—сказал Чеботарев.—А теперь вот что, товарищ Афиногенова. У меня такая привычка, или порядок такой, что ли. Кто ко мне в роту попадает, я хочу о нем знать всю подноготную и не из послужного списка, не по форме, а по существу. Меня интересует, кто вы, где трудились до войны, в войну, когда и где успели заслужить две медали и за что. Расскажите!

Аня рассказала нам всю свою двадцатичетырехлетнюю жизнь. К концу ее повествования в дверь землянки постучался Власов.

— Товарищ капитан, боец Власов прибыл по вашему вызову.

— Очень хорошо. Кстати пришел,—весело проговорил комроты.—Вот этот боец—Аня Афиногенова, снайпер, направлена к нам в подразделение. Познакомься, тебе придется с ней поработать.

— Сухопутный моряк Власов,—отрекомендовался тот, крепко стиснув руку Ани,—сын собственных родителей, родился по личному желанию...

— Садись, балагур, рассказывай, как идет твоя жизнь?

— Да что, товарищ капитан, жизнь наша:

Мы люди моря,  
Живем на суше,  
Когда нет боя—  
Бьем баклуши!

— Вот потому и пригласил я тебя, что ты баклуши бьешь, а надо дело делать. Ну, как, не простыл после вчерашней холодной ванны?..

— У меня же тело, как у моржа, товарищ капитан, холодной воды не боится.

— Ну, а укусил-то он тебя очень глубоко?—спросил Чеботарев, поглядев на перевязанную руку Власова.

— Чепуха, заживет. Небольшой надкус сделал. Другую неприятность терпеть приходится,—печально поведал Власов и, достав из кармана бумажник, показал расклеившийся партбилет с чернильными и водяными подтеками.

— Придется в политотдел обращаться, чтобы заменили. Испорчен документ по уважительной причине.

— Заменят,—успокаивающе заметил я и пообещал выдать Власову справку в том, что действительно причина порчи партдокумента была уважительной.

— Да вот еще фотокарточку своей жены испортил, ну эту-то без всяких справок, напишу—заменит.

Власов бережно положил на столик перед нами размокшую фотографию, с которой улыбалось лицо большеглазой девушки.

— Только, только за три месяца до войны женился в Мурманске. А сейчас она оттуда с матерью в Вологду эвакуировалась. Пожить с ней по-настоящему не успел...

— Работать тебе, товарищ Власов, придется вместе с Афиногеновой. Она направлена к нам, как опытный снайпер; о тебе у нас слава, как о лучшем стрелке; отберите в роте человек десять лучших, я их освобожу пока от всякой другой службы, кроме боевого охранения. Где, как не в боевом охранении, практиковаться снайперу... И занимайтесь. Учтите: в условиях длительной обороны,—а к этому, как надо полагать, Карельский фронт имеет склонность,—подготовка настоящих снайперов—великое дело,—напутствовал их Чеботарев,—потом, когда понадобятся напарники для снайперов, я их выделю сам...

Среди бойцов Власов был известен как неунывающий весельчак-прибаутчик и храбрый, неустрашимый солдат. С Аней Афиногеновой он сошелся характером и по-деловому, по-товари-

щески подружился. Аня учила свою группу стрелять метко, без промаха, а Власов учил их маскироваться, подкрадываться к врагу и уничтожать его. Власов умел ободрить робеющего с не-привычки новичка.

— Подумаешь, есть от чего рукам трястись,—говорил он,— двум смертям не бывать, одной не миновать. Да и чего тут вообще бояться. Против нас какой-то вшиво-голодянский полк из штурмовиков...

Однажды, во время такой беседы, вблизи окопчика, где Власов лежал с двумя своими учениками, разорвался тяжелый снаряд. Столб огня и дыма, визг осколков, посыпалась земля. Новички, тесно прижавшись друг к другу, побледнев, вопрошали: «Ну как? Живы ли?»

Рассеялся дым. Власов спокойно свернул цыгарку, затем другую и, улыбаясь, подал бойцам:

— Вот вам для успокоения нервов. Самим-то полчаса, наверное, не свернуть будет? Эх вы, трясогузки!

Потом, показывая на воронку, вырытую снарядом, небрежно заявил:

— Это разве снаряд. Чепуха. Всю воронку можно шинелью накрыть. А вот помню, в шестнадцатом году в Архангельске пороховой погреб разорвало. Вот хлопнуло, так хлопнуло! Рядом пекарня стояла, ну, ее как не бывало. Один каравай так швырнуло, что до Пустозерска, верст восемьсот катился... Вот это был взрывчик!..

Иногда снайперы по целым суткам выслеживали врага. Кто-нибудь начинал тревожно вздыхать:

— Сухарики и те на исходе. Супцу бы горяченького теперь котелочек...

Власов немедленно откликнулся:

— Супцу-то что, достать не долго. Полежим вот тут, попостимся маленечко и суп будет; какой вам—перловый или с капустой погуще? Суп—чепуха. В Сванетии бы, ребята, побывать нам, вот где сытая жизнь! Разве вы не знаете? Это на родине у снайпера Аркашки Михашвили. Далеко, далеко за Кавказскими горами есть страна Сванетия. Ну, и житуха там! Коровы там сами в реки доятся. Молоко между гор течет. Берега кисельные, горы сахарные. А в молочных реках рыба плавает в жареном виде и вилка в хребте у каждой, доставай и ешь. С сахарных гор сладкое вино ручьями льется; хочешь пей, хочешь купайся. У нас вот на деревьях одни шишки растут, а там тебе и орехи шелушенные и яблоки моченые и баранки крученые; грушами, апельсинами телятишек кормят. Изгороди вокруг садов колбасой копченой горожены; улицы шоколадом мощены. Одно

там, братцы мои, неудобство: пей, ешь сколько хочешь, а до ветру итти за сто верст надо...

— Почему, Вася?

— Смешно, право. Почему? Кто же тебе позволит на кисельных-то берегах? Не верите? Спросите вон Аркашку Михашвили, от него слышал, он тамошний, из сытой Сванетии...

Власов и Михашвили на досуге нередко друг над другом подшучивали, что не мешало их деловой дружбе.

## 12. СНОВА ВО ВРАЖЬЕМ ТЫЛУ

Наступление зимы на нашем холодном фронте не предвещало больших изменений ни на одном из участков и направлений. Соединения всех родов войск занимали прочную незыблемую оборону. Корабли Северного флота, авиация, пехота, артиллерия окончательно, наглухо закрыли немецким и финским войскам вход в глубь нашей страны с севера. В эту зиму отличились своей храбростью и дерзостью подразделения подполковника Беленького и капитана Юсупова, действовавшие в районе Кестенги.

Разведывательная рота капитана Чеботарева тоже нередко выходила в тыл противника.

Однажды Чеботарева и меня вызвали в штаб. Там в просторной землянке сидели командир дивизии, командир полка и двое представителей из штаба армии. Командир полка заговорил первым:

— Так вот, товарищи, принято решение и разработан приказ—выйти вам со всей ротой в глубокую разведку, разведать позиции противника от переднего края левого фланга и вглубь до последней точки его эшелонирования; устроить засаду, захватить пленных и, умело маневрируя, обходом возвратиться, минуя наш фланг, прямо в тыл к этой точке.—Он показал эту точку на карте.—Вашей роте даются сутки для отдыха. Выделяю вам двух радистов с надлежащей походной аппаратурой. Через них в нужный момент можете вызвать артиллерийский минометный огонь и регулярно поддерживать связь с нами...

— Обдумайте хорошенько операцию,—вмешался командир дивизии,—местность изучите по карте, но карте не доверяйтесь: разведайте каждую мелочь. Только осторожная и всесторонняя разведка обеспечит успех. Действуйте, товарищи, осмотрительно, но без колебаний...

— Есть, товарищ полковник, постараемся сделать все, что от нас зависит,—заверил Чеботарев.

— Будем на вас надеяться,—сказал командир дивизии,—при-

зовите себе на помощь инициативу, находчивость, изобретательность...

Он встал с места, дав понять, что на этом разговор окончен.

Собрав командиров взводов, Чеботарев сообщил им задачу и приказал готовиться в четырехдневный лыжный поход.

...Выступили с вечера. Земля промерзла, мороз был градусов двадцать пять, снег неглубокий. Итти было легко.

Необходимо было совершить глубокий маневренный обход, чтобы противник не обнаружил наш лыжный след. А как действовать дальше, покажет обстановка.

Вышли в зону противника. Такой же лес, пересекаемый промерзшими болотами и скалистыми сопками. Перед утром мороз стал крепче, но нагруженные боеприпасами, оружием и четырехдневным пайком, люди не чувствовали холода, им было даже жарко. Шли осторожно, аккуратно, гуськом, оставляя за собой одну лыжню. Из всей роты только десять человек при переходе пользовались лыжными палками, остальные шли по их следу, поохотничьи, не подпираясь, держа палки при себе на случай резкого броска, если будет к тому необходимость. А след на снегу от десяти пар палок, если б и был обнаружен, не дал бы точного представления о численности нашего отряда.

Днем, когда рота была на привале, трое разведчиков, возглавляемых ефрейтором Михашвили, донесли, что впереди, в двух километрах, находятся два немецких гарнизона, они расположены на расстоянии километра друг от друга и объединяются тропой. Судя по количеству землянок и дзотов, в этих гарнизонах не менее роты немцев.

— За точность сведений ручаетесь?—спросил Чеботарев.— В проверке не нуждаются ваши данные?

— Не нуждаются, товарищ капитан,—ответил Михашвили обиженным тоном,—вы разве не знаете меня?.. Разве затем мы четыре часа на брюхе по снегу ползли?

— А ваше появление вблизи гарнизона не было замечено?—спросил Чеботарев.

— Не должно быть.

— Ну, хорошо, не будем засиживаться здесь и ждать, пока немцы обнаружат наш след и по нему придут к нам сюда в гости. Надо действовать...

Чеботарев посоветовался со мной. Через несколько минут было решено действовать так: против двух немецких гарнизонов выделить два отделения с двумя ручными пулеметами каждое; обстрелять гарнизоны в разное время, минут через тридцать одно после другого, и быстро отступить, заманить немцев сюда, а здесь устроить для них хорошо замаскированную засаду.

После пулеметного обстрела, резко прозвучавшего в лесной глуши, немцы зашевелились не сразу. Решив, что их обстрелял небольшой отряд разведчиков, они осмотрительно, ощупью двинулись цепью преследовать пулеметчиков по их следу. След от обоих гарнизонов вел к нашей замаскированной засаде. Она была построена треугольником, углом вперед, фланги засады уступами спускались к открытой низине и обеспечивали охрану всей роты. Капитан Чеботарев заблаговременно предупредил бойцов не стрелять по немцам, пока те не подойдут к засаде метров на двадцать—тридцать, а тогда уже пустить в ход все огневые средства. Поскольку в такой обстановке подавать команду сигналами—свистками и рожками—не безопасно, он избрал ориентиром ложбинку, поросшую кустарником, и сказал:

— Тут мы им дадим баню. Стрелять без всякой команды, но лишь тогда, когда они начнут спускаться вот сюда, в ложбинку...

Мы напряженно ждали немцев.

И вот они показались.

Серого, мышиного цвета шаровары, спускавшиеся на ботинки, короткие куртки с капюшонами. Откормленные морды, закоптевшие и заспанные в низких землянках и досчатых клоповниках. Они двигались во весь рост прямо на засаду, и число их из-за деревьев мы не могли точно определить.

Отсутствие у них маскировочных халатов и лыж удивило наших бойцов, притаившихся в засаде.

— В таком виде далеко не убредут,—шепнул мне Ефимыч, лежавший в снегу рядом со мной.

Одновременный, сосредоточенный залп из пулеметов, автоматов и винтовок скосил ряды наступавших штурмовиков. Многие упали замертво. Другие—раненые корчились на снегу, оглашая лес дикими воплями. Шедшие позади залегли, стали вести перестрелку. Но и тем не было спасения от наших снайперов. Тогда немцы попытались перегруппироваться и зайти нам во фланг. Но фланги у нас были надежно прикрыты пулеметчиками.

Бойцы из взвода младшего лейтенанта Егорова, увидев немцев вплотную перед собой, завязали рукопашную схватку. Рядовой Гайдамакин прикладом винтовки оглушил одного фрица и взял его в плен. Михашвили вцепился в глотку другого и еле удержавшись, чтоб не задушить его, тоже отвел и сдал под охрану. Еще двух «языков» взяли бойцы лейтенанта Крохина. Всего немцы оставили вблизи и на месте засады нашей роты около семидесяти человек убитыми, радию, шесть ручных пулеметов и много другого оружия, часть которого наши бойцы не успели подобрать. Хотя в числе убитых был и немецкий радист-корректировщик, однако, со стороны немецких гарнизонов по-

слышалась минометная стрельба и даже выстрелы шестиствольной «скрипухи».

— Немедленно отходить!—распорядился Чеботарев.

Мы пошли не по старому следу, а в глубь леса, дальше в сторону открытого стыка.

— Передайте, чтоб поменьше было шума. Дело еще не кончено. Не начало дело венчает, а конец...

Мы быстро уходили, уводя четырех пленных и унося с собой захваченные трофеи. Немецкие минометы били наугад, наощупь, по лесу, по болотным низинам. И все же три мины лопнули над нами, задев за верхушки деревьев. У нас оказалось пять человек убитых, шесть раненых.

Раненых быстро перевязали. Тех, кто не в силах был идти, завернули в палатки, положили на лодочки-волокуши, потащили за собой.

Еще одна тяжелая мина грохнулась в сосновых вершинах, почти над головой Чеботарева. Мы видели, как взрывная волна подбросила и перевернула его в воздухе. Шинель на нем лопнула по швам; полы раскинуло; из стеганых брюк показались клочья ваты. Он упал на спину. Тонкие струйки крови из ушей его стекла по щекам.

Мой связаный Ефимыч, упав перед ним на колени, поглядел в лицо Чеботарева и закричал:

— Фельдшера сюда!.. Ротного командира убило!

Вмиг Чеботарева окружили: фельдшер с расстегнутой сумкой, политрук и несколько бойцов. Осмотрели, проверили пульс. Ранения не оказалось—была контузия.

Вечерело. Густые потемки спустились над лесом. Мороз все крепчал. Мы шли быстро следом за высланным вперед дозором. Уже издали доносилась минометная стрельба и пулеметная дробь противника.

Чеботарев стал приходить в себя. Он что-то бормотал невнятное, очевидно, намеревался спросить: «Что со мной?»—и этого не мог сделать.

Еле открыв глаза, он издал глуховатый стон.

Ефимыч обернулся, склонившись, поправил на нем плащ-палатку, прикрыл, чтоб не обморозилось лицо, и ласково, как ребенка, сказал:

— Не простудить бы вас, сердешный, оживайте в добрый час, оживайте...

Вдруг Чеботарев вятно позвал:

— Дуболь!.. Азаров!..

И опять Ефимыч на ходу склонился над Чеботаревым:

— Милый ты мой, их нет, вот ведь кого зовет; очухайся, родной...

Рота все дальше и дальше углублялась в лес.

Наконец, проверив по часам и по намеченному азимуту, далеко ли мы продвинулись, политрук, заменивший Чеботарева, приказал круто повернуть в свой тыл к намеченной точке.

Чеботарев окончательно пришел в себя только в медсанбате. Над ним в белом халате, склонившись, стояла полковой врач Рахиль Соломоновна Хацкелевич. Она грустно улыбалась и говорила:

— Все в порядке, товарищ Чеботарев, над вами не мало потрудились, чтобы привести в чувство. Вас немножечко контузило и немножечко обморозило. Недельки две-три погостите здесь, и вот тогда все в порядке будет; все в порядке...

Пока Чеботарев выздоравливал, на фронтах произошло немало событий. Наши войска на Северном Кавказе, в районе среднего Дона и на других участках перешли в наступление, освободили Краснодар, Ростов, закончили ликвидацию немецкой группировки под Сталинградом. Настроение среди бойцов поднималось; все с жадностью следили за сообщениями Информбюро, отмечали на картах пути продвижения Красной Армии.

### 13. ДЕВУШКА С ПОДАРКАМИ ИЗ СИБИРИ

С попутной колонной грузовых автомашин, по ровному шоссе Кемь—Ухта, я ехал на другое направление фронта. В пути на сто первом километре поздней ночью колонна остановилась. Шoferы и ехавшие на фронт за Ухту военнослужащие приютились в обширной землянке, в лесу, вблизи шоссе. На двух кирпичных печках, покрытых железными плитами, бойцы-лыжники жарили на сковородках свежее мясо только что убитого ими лося. Лось был пудов на пятнадцать. Больше половины лосяной туши бойцы зарыли в снег до следующего выхода на контрольную лыжню между стыками двух направлений фронта.

Лыжники угостили и нас. Полный котелок мяса, прожаренного на коровьем масле, они подали Ефимычу для него и для меня.

— Нехватит, берите еще,—сказал боец,—у нас этого скота много по лесу гуляет...

Закусив лосятиной, я разулся и сел у печки, присматриваясь к окружающим. В землянке расположилось человек тридцать. Одни из них уже храпели на нарах, другие, обжигаясь, пили чай и закусывали, третьи протирали винтовки, кто-то настраивал гитару.

Но вот неожиданно у столба, где, мигая, светила самодельная коптилка, появилась девушка. Она размотала теплую шаль, вытерла платочком покрытые изморозью брови и ресницы. На вид ей было лет шестнадцать-семнадцать. Девушка расстегнула пальто; на вязаной кофточке оказался комсомольский значок. Она поправила русые косички и удивленными чистыми глазами обвела утонувших в табачном дыму и полумраке солдат. Ее заметили. Разговоры быстро стихли. Наверное, увидев ее, многие подумали, что там, где-то далеко у них на родине, такие же светлоглазые,—у кого дочь, у кого сестренка,—бегают в семилетку, в свободное время стоят в очередях за продуктами или организовано всей ребятней собирают железный лом в утиль на оборону...

— Сколько вам лет?—не выдержал кто-то.

— Мне? Мне уже семнадцатый...

И опять молчание. И сдержанные догадки:

— Такая молоденькая, и воевать...

— Страдать, бедненькая, едет,—поправил чей-то простуженный бас из темного угла землянки.

— Какими судьбами ты, голубушка, попала к нам и отколь?..

— Из далекой Сибири, из Кемеровской области, я везу к вам в дивизию подарки...

— И много привезла?—спросил кто-то из темноты.

— Со мной сюда направили двенадцать грузовых машин, да это еще не все.

— Как доехали сюда? Все благополучно?

— Благополучно. Плохо что ночь-то светлая. Один самолет пролетел два раза над нами, пострелял. Шофера пульей задело да двух красноармейцев из охраны...

— Перепугалась?

— Нет. Немножко только...

Девушку звали Клавой. Она была ученица девятого класса. В землянке оказалось немало сибиряков, они обступили ее, интересовались, как живет, как работает наш родной, далекий тыл, и она долго рассказывала нам о сибирских колхозах, совхозах, собравших богатые урожан, о заводах и кемеровских шахтах, выполняющих производственные программы.

Перед рассветом, забравшись в кузов грузовика и закрывшись от ветра плащпалаткой, мы поехали дальше к Ухте. Оставалось всего три—четыре часа езды. Клава ехала с нами. Она часто выглядывала из-под плащпалатки; ее привлекал зимний пейзаж восточной Карелии. Многие места на Ухтинском тракте напоминали ей сибирские сопки, тайгу.

— Закройся, не простудись,—предупреждал я Клаву,—любоваться тут не на что. Всякий пейзаж хорош, особенно, если он

не стреляет. А то был случай на Кестенгском направлении: я нашел такое местечко,—картину пиши и только! Озеро круглое, как чаша. Половина обрамлена сосновым лесом; другая—березняком. На немецкой стороне золотой закат. Вдали сопка с наблюдательной вышкой на вершине; вокруг сопки хвойный мелкий, ровный лес. А сопочка такая аккуратненькая, будто шапка Мономаха! А посреди круглого озера, как хребет кита, выпирает из воды продолговатая, скользкая, сверкающая на солнце черная скала с единственной пушистой раскорякой-березой, похожей на фонтан, изрыгаемый китом, всплывшим на поверхность. Я недолго тогда любовался на этот примечательный пейзаж. Откуда-то из-за «китова хребта» немцы начали стрелять минами. Тут мне и пейзаж показался нехорош...

Скоро колонна грузовых автомашин подошла к селу Ухта, широко раскинутому на высоком живописном берегу озера Куйто. Новые дома из свежего толстого леса, постройки МТС, лесопильного завода, районные учреждения, школы, больницы, военный городок,—сплошь были продырявлены, разрушены артиллерийским обстрелом.

Батареи дальнобойных пушек противника расположились на лесистом мысу озера и обстреливали село, как только замечали в нем движение.

— Не здесь ли, не в этой ли Ухте учитель Ленрот записывал сто лет тому назад руны Калевалы?—спросила меня Клава.

— Вот именно здесь!—вспомнил я.

А Ефимыч добавил:

— Сказывают люди, что сосна, под которой Ленрот записывал Калевалу, до сих пор где-то сохранилась на берегу озера Куйто.

— Наверяд ли,—вмешался в наш разговор шофер, возившийся около машины,—я слышал, что ту сосну снарядом снесло.

— А ты уже и Калевалу успела прочитать?—спросил я Клаву.

— Как же, я люблю народное творчество, вообще люблю стихи.

И завязался у нас разговор о поэзии, о том, почему на фронте любят лирику. Мы беседовали всю дорогу.

По приезде Клава сдала в хозяйство привезенные подарки и в тот же день уехала обратно.

Где ты теперь, Клава? Что делаешь? Вспоминаешь ли Карелию, землянку на сто первом километре и бойцов, которым в тяжелую годину привезла подарки из Сибири.

## 14. В ОТДЕЛЬНОМ БАТАЛЬОНЕ

На Ухтинском направлении я попал в отдельный батальон.

Командиром уже не первый год здесь был капитан Краснов, бывший райвоенком, неизвестно почему облюбовавший себе форму летчика. Человек он был по внешности мрачный, неразговорчивый.

Командование дивизии, занимавшей оборону на Ухтинском направлении, поставило перед нами задачу: разведать силы противника, всегда знать его намерения и для этого почаще и побольше иметь пленных «языков».

До наступления весны Краснов неоднократно направлял разведывательные группы в тыл противника и несколько раз выходил с ними сам. Ходили до села Войницы, что в шестидесяти километрах от линии фронта; ходили на хутор Корпи-Ярви и за Ало-озеро. Однажды так увлеклись, что ушли почти за сто километров в тыл к финнам и привели коменданта гарнизона. От него узнали дислокацию войск противника на этом направлении, кто командует финской бригадой, что он собою представляет, какую имеет военную выучку и что за характер у этого вояки. Установили, какие части стоят на Малеванинской и Регозерской дорогах, и узнали точное расписание, когда прибывают в эти гарнизоны обозы с продовольствием и боеприпасами, чем не замедлили воспользоваться,—разработали план выступления, засады и нападения на обоз противника.

В морозное утро, по крепкому насту, отряд числом свыше сотни бойцов с Красновым во главе вышел в поход. Днем снег стал слабее, рыхлее; лыжи проваливались. Продвижение становилось затруднительным.

— Придется на денек притаиться в лесу, а ночью, как только пристынет, снова в путь,—решил комбат и расположил отряд на удобном оборонительном рубеже, предусмотрев при этом, чтобы противник не смог напасть врасплох.

За едой я заметил в полумраке под деревьями, что один из бойцов очень внимательно присматривается ко мне и, видно, хочет заговорить. Наконец, боец осмелился, подошел и, козырнув, обратился:

— Товарищ командир, дозвоьте узнать, а вы осенью в сорок первом за Оштой около Свири не были?

— Был.

— То-то я вас признал еще третьего дня и передумывал, где же вас встречал? Моя фамилия Мухин, не помните ли, в сторожевом охранении вы меня учили, как надо врага высматривать.

— Это когда мы с отрядом Логинова шли с задачи?

— Вот, вот.

— Очень приятно. Можно сказать, в нашем батальоне первого старого знакомого встречаю.

Посадив его рядом с собой на плащпалатку, я стал выспрашивать:

— Ну, как привыкаете, товарищ Мухин?

— Что вы, товарищ капитан, давно я уже перестал привыкать. Думаю, что привык в полной мере, как солдату полагается. Считайте: года полтора, как не виделась, за этокое время да не привыкнуть!

— Давно ли здесь в батальоне, товарищ Мухин?

— Давненько. Осень и зиму сорок первого прослужил там, за Онежским озером. Потом имел ранение, вот сюда, чуть пониже ключицы. К погоде и сейчас боль сказывается. Потом меня наградили Красной Звездой и отпуск в августе сорок второго дали. Так что и в деревне побывал. Мне кажется, мы с вами земляки, товарищ капитан. Я тотемский, а вы тоже из-под Вологды откуда-то. Ну, вот погостил я в деревне до уборки урожая. Потом попал на пересыльный пункт, и вот уже с полгода здесь. Нет ли, товарищ капитан, легонького табачку на цыгарочку?.. Вот спасибо.

— Расскажите, как в деревне жизнь идет? Помню, вы тогда что-то жаловались.

— И как было не жаловаться, товарищ капитан, тогда одно было, сейчас—другое. Война учит и там и тут. В первые-то дни, чего греха таить, и я боялся до винтовки прикоснуться. И отдача казалась сильной, думал, что прикладом скулы выворотит, и затвор, думал, выскочит да прямо в лоб. А теперь я смеюсь над тем—собой! Теперь я автоматом овладел и гранату любую могу швырнуть, и робость как рукой сняло...

— Бытие и сознание!—многозначительно, лаконично, вставил сидевший в стороне Ефимыч и по-свойски подмигнул мне,—со всяким так бывает.

— А про деревню что можно сказать?—продолжал Мухин, густо пуская табачный дым.—Скажу, что места у нас хлебные, скот неособенный и не поймешь то ли из-за молока, то ли из-за навоза его содержат, потому как земля наша за Тотьмой без навозу ни черта не родит. И что я приметил в деревне? А приметил то, что бабы наши и без нас, хоть и туго и тяжело, а хорошо справляются. Скажу к примеру так: до войны, когда и все мужики были у нас в деревне, мы засевали при старом председателе пятьсот га и считали—хорошо. А теперь председателем там моя жена (до войны жаловалась на здоровье, дескать, почки-селезенки на одной ниточке держатся), работают в колхозе старики, бабы, ребятишки и засевают уже шестьсот га. За один год подняли сто гектаров нови! Вот и поди! Работают нещадно, това-

рищ капитан, чуют ответственность, долг перед всем народом. Скажу по совести: мне тут легче приходится, а то, что рискуем мы здесь, так ведь говорят—«риск благородное дело». Дома-то, бывало, в колхозе, до войны, все на своих плечах проворачивал: и пахал, и сеял, и убирал, и в своем хозяйстве, то дровишки, то воды наносишь, то коровенку обрядишь,—уважая нездоровье жены, а теперь не на кого ей облокотиться. И здоровье откуда-то взялось. На почки-селезенки жалоб нет, а все в одну точку бьет: как бы успеть, да не проспать, не забыть. Ребятишки-то быстро взрослеют: большаку моему всего тринадцать годков—четырнадцатый с масляницы, а его уже по имени-отчеству величают—мужчина! Меньшому десяти нет, а тоже кое в чем помогает. Разговорился со мной о войне, выпрашивает—сколько тятка немцев убил, то да се, да каких я главных генералов видал.

Мухин замолк и потянулся ко мне за второй цыгаркой.

— Уж накуриться, так накуриться, чтобы дома не тужили...

— Да, это верно,—заметил Ефимыч,—война всему учит, к делу приспособляет.

После длительного дневного привала в заснеженном лесу, под ветвями деревьев, куда почти не проникает солнце, наш отряд, как только подмерзло, двинулся дальше обходом на дорогу, ведущую из вражеского тыла в их гарнизон.

И вот, наконец, мы добрались до цели и устроили засаду.

Обоз из шестидесяти подвод, груженных продовольствием, обмундированием и боеприпасами: патронами и минами, медленно тянулся по скрипучему снегу. С обозом, кроме ездовых, было человек тридцать охраны, состоящей из довольно пожилых солдат, и с ними гладко выбритый лютеранский пастор, в енотовой шубе, одетой поверх шинели.

На передней подводе, на мешках сидел финский солдат с винтовкой на коленях и дремал. Дремали и многие другие солдаты, видимо, уверенные, что вдали от гарнизона, прикрывающего стык обороны, ничего с ними не случится.

Неожиданный всплеск винтовочных выстрелов и автоматных очередей из засады произвел полный переполох. Лошади ржали, поднимаясь на дыбы, кидаясь в сторону и падая на дорогу, на возы, на убитых возчиков. От беспорядочно сгрудившегося обоза отделилось человек десять финских солдат. Вместе с пастором, поспешно сбросившим с себя шубу, они кинулись в противоположную от нас сторону леса.

Приказав командиру роты с двумя взводами красноармейцев преследовать и перехватить бежавших, Краснов с остальными бойцами поспешил на дорогу, к обозу.

— Раненых не бить, стаскать всех в сторону,—распорядился он,—возы сгрудить в кучу. Сколько добра! И невозможно захватить, куда по бездорожью потащишь, на чем? Себе дороже,—сожалел он, обходя возы с кладью и вспарывая для просмотра штыком мешки и кули с продуктами.

Радист выстукивал в штаб дивизии шифровку: «Разбили и захватили обоз из шестидесяти подвод, часть охраны перебита, часть—преследуется. Что делать с обозом? Продовольствие, боеприпасы, бензин с собой по бездорожью взять невозможно. Краснов». Из дивизии ответили: «Обоз сожгите на месте, приведите пленных».

Сгруженные в кучу возы с имуществом облили бензином. Зажгли. Пламя мгновенно охватило трофеи.

— Вот она жертва богу войны!—возбужденно проговорил Краснов, глядя, как огонь все шире и шире забирал в свои объятия мешки, ящики и бочки.

— Лошадей жалко, хорошие кони погибли,—проговорил Ефимыч и, обратясь ко мне, сказал:—Товарищ капитан, скажите Краснову, а не отойти ли нам отсюда в сторону, в лесок? Сейчас тут ящики с патронами и минами примутся... Чего доброго, взрывами зацепить может.

Едва мы успели удалиться под прикрытие лесной чащи, как, действительно, в костре затрещали патроны, раздались взрывы железных ящиков, напсленных минами.

Между тем, первый и второй взводы, обойдя с двух сторон бежавшую группу финнов, выгнали ее из леса на снежную поляну. Оставив четырех солдат убитыми, финны бросились по крепкому насту к озеру и хотели обогнуть зиявшую посредине черную с серебристой рябью полынью. Это им не удалось.

Лишь более прыткому финскому пастору удалось вырваться в сторону. Но и ему наперерез, сбросив полушубки, пустились в одних гимнастерках три автоматчика, принявшие пастора за офицера и потому пожелавшие взять его живьем... Пятеро финских солдат были окружены. Оставался только пастор.

— Поймать его!—вскричал старший лейтенант Шамарин и, огибая полынью, с бойцами пустился на помощь своим товарищам.

Оказавшись со всех сторон окруженным наседавшими, но не стрелявшими красноармейцами, пастор догадался, что его намереваются взять в плен. Он дал несколько выстрелов из маузера, но не задев никого, нерешительно покрутил револьвер около своей головы, обронил его и еще с большей прытью бросился к полынье.

Пастор добежал до полыньи и засуетился на ее краю. И когда один из бойцов подбежал к нему почти вплотную, он, зажмуря глаза, прыгнул в воду. Брызги разлетелись во все стороны.

— Отставить!—приказал Шамарин, боясь, как бы кто-нибудь из бойцов не бросился следом за пастором. Впрочем, желающих испугаться не было.

Черная, как смоль, озерная вода расступилась и приняла грузное тело. Увы! Темноводная, озерная «пучина» в этом месте оказалась настолько мелкой, что пастор, открыв глаза, увидел себя стоящим в воде всего-навсего по колени. То ли вода показалась ему слишком холодной, то ли неудача самоубийства отрезвила его; как бы то ни было, воздев обе руки к небу, пастор выругался на чистом русском языке и произнес дрожащим голосом:

— Сдаюсь! Видно, богом смерть не уготована...

Затем он, как тюлень, на брюхе выполз на лед, отряхнулся и бегом покорно помчался посреди красноармейцев в сторону дороги, где клубился дым горевшего обоза и слышались последние взрывы уничтожаемых боеприпасов...

## 15. БУДНИЧНЫЕ ДЕЛА В ОБОРОНЕ

Командир дивизии—рослый полковник—и приехавший из штаба генерал—солидный, дородный,—на бойкой и стройной лошадке, впряженной в легкие санки, разъезжали по частям и подразделениям дивизии; интересовались состоянием обороны, устройством заграждений, противотанковых препятствий, минированием проходов и стыков, и всем тем, чем может интересоваться большое начальство. Попутно они заглянули и в нашу землянку. Заглянули и восхитились образцовым порядком в ней. Теплая, светлая и уютная землянка содержалась в чистоте, как горница невесты. Пол был гладкий, ровный, строганый, стены и потолок отделаны переплетенной в ромб сосновой дранкой. Портреты Ленина, Сталина, Героев Отечественной войны Панфилова, Гастелло, Зои Космодемьянской глядели со стен. Самодельная кровать с постелью и подушкой под чистой, безукоризненно простиранной простыней, три самодельных стула около треугольного стола; на полочке два—три десятка книг; в небольшом шкафике—запас консервов и разная незатейливая посуда на случай прихода нетребовательных, но безотказных до угощения гостей,—все было расставлено, как на смотре. У самых дверей помещалась раздевалка и чугунная печка; рядом с раздевалкой было аккуратное жильё Ефимыча.

Генерал все похвалил и сказал полковнику:

— Посылайте всех командиров на экскурсию сюда, пусть учатся, как можно и как надо жить в обороне.

— Это верно,—согласился командир дивизии.

— Все дело в связном, товарищ генерал,—сказал я.—У меня связной Ефимыч—золото-человек!.. Он за порядком следит.

- А он где помещается?
- Рядом, из раздевалки дверь к нему.
- А ну-ка, посмотрим, у него как?

Ефимыч, слышавший этот разговор, слегка дрогнул, быстро одернул на себе гимнастерку. Дверь распахнулась, и генерал с полковником вошли.

- Связной рядовой Родинов!—бойко отчеканил Ефимыч.
- Здравствуйте!
- Здравия желаю!
- Чем занимаетесь?
- Осиливаю четвертую главу истории партии, товарищ генерал.
- Похвально! Партийный?
- Никак нет, готовлюсь вступить.
- Хорошо. Правильно. А и здесь тоже неплохой порядок! Молодец, товарищ Родинов, молодец!..
- Рад стараться, товарищ генерал.
- В старой армии служили?
- Полтора года до революции в лейб-гвардии Измайловском полку!
- А это что у вас такое?
- Это у меня приспособление, заместо часов, товарищ генерал...

На специальной полочке помещалась цинковая коробка из-под патронов, в нижней ее части стеклянная банка с водой и цифровыми делениями; в верхней—круглое отверстие, в которое вставлена опрокинутая кверху дном бутылка. Через горлышко бутылки, сквозь какое-то препятствие, по каплям просачивалась вода, медленно, равномерно капая в стеклянную банку.

— Досюда докапает—час, досюда—два, до этой черточки—четыре и так далее,—пояснил Ефимыч,—очень правильные, проверены по настоящим. Из боевого охранения ребята прибегают у меня спрашивать сколько времени и по моим часам посты меняют. И никогда никаких нареканий не бывало...

— Настоящих у вас нет часов?—спросил генерал, с любопытством рассматривая изобретение Ефимыча.

— Никак нет. А капитан часто уходит, свои уносит, ну, мне без часов-то вроде скучно...

— Товарищ капитан,—обратился генерал ко мне,—как несет повседневную службу ваш связной?

— Отличный связной, лучшего я себе не желаю.

Тогда генерал достал из кармана брюк небольшие никелевые часики и, подавая их Ефимычу, произнес:

— Дарю от имени Военного Совета Армии за хорошую службу.

— Спасибо!—растерянно и смутясь от неожиданности, проговорил Ефимыч, принимая подарок.

— А по уставу как?—улыбнулся генерал.

Ефимыч мгновенно одернул гимнастерку, щелкнул каблуками и, выткнувшись, четко произнес:

— Служу Советскому Союзу!..

— Вот так, правильно,—одобрил генерал. И весело добавил:—А теперь сходите за комбатом, позовите его сюда.

Застегиваясь на ходу и оправляя на себе снаряжение, Краснов быстро прибежал в нашу землянку и отрапортовал генералу.

Потом, развернув карту, он стал докладывать генералу и командиру дивизии о действиях боевых групп, о результатах своих наблюдений, показывая по карте те места, где приходилось бывать в тылах противника и оставить о себе финнам неприятные воспоминания. Генерал внимательно слушал, делал заметки в своей записной книжке и одобрительно кивал головой.

— Хорошо, товарищ Краснов, чувствуется, что вы и ваш батальон не прохладаетесь, сложа руки.

— Да, этого нельзя отрицать,—согласился командир дивизии,—благодаря разведке, мы знаем противника, его повадки и намерения и оборону здесь вполне обеспечим имеющимися силами и средствами.

— Финны и немцы на здешнем участке тоже перестали разбрасываться снарядами,—сообщил Краснов,—Ухта теперь обстреливаться не будет; их батареи отведены на Карельский перешеек. Так что теперь тыловые подразделения дивизии вполне могут выбрасываться из леса и занимать уцелевшие в селе строения. И еще, товарищ генерал, я внес бы такое предложение: мы находимся в обороне, от Кировской магистрали в двухстах километрах. Здесь противник не пытается наступать. А вокруг Ухты, по рассказам, до войны были замечательные посевы и огороды; не плохо было бы, если б нынешней весной наши тыловые подразделения и резервы занялись на этой земле сельским хозяйством. Вы представьте себе: поля картофеля и капусты для личного состава дивизии; поля, засеянные овсом для конского поголовья наших обозов! Ведь это тоже удар по фашизму! У нас в соединении есть и агрономы и бригадиры колхозов, и директора совхозов, их нужно только найти. И тракторы есть, и плуги найдутся, и семена. Дело может быть поставлено на верный ход, если попадет в надежные руки, а рук таких у нас, товарищ генерал, хоть отбавляй, и людей свободных от всякого дела в условиях обороны—тоже..

— Идея неплохая,—промолвил задумчиво генерал, постукивая пальцами по алюминиевому портсигару,—идея неплохая, попробуем поставить вопрос на Военном Совете. И чем скорей,

тем лучше. Весна не за горами. Как вы смотрите на сей предмет?—обратился он к комдиву.

Комдив, молча слушавший Краснова, мысленно соглашался с ним и сожалел, почему он сам раньше об этом не догадался. Он пожал плечами и, сделав вид, что для него этот вопрос не представляет ничего нового, не без запальчивости сказал, показывая на свою довольно широкую шею:

— Вот оно где такое дело окажется! Я задумывался уже не раз об том. Что ж, если нам сверху разрешат да семена овощей и яровых отпустят, пожалуй, управимся. Смешного в этом, я думаю, ничего нет,—вопросительно поглядел он на генерала.

— Отнюдь нет!—живо возразил тот.—Скажу больше, замечательно это будет! Достоин похвалы и поощрения. У нас есть специально выделенные люди на Мурманском и Кандалакшском направлениях; в Белом и Баренцовом морях ловят треску, пикшу, семгу и сельдь. Результаты их трудов видны, даже здесь на пищеблоках. За хорошие показатели, за тысячепудовые уловы рыбы там передовых товарищей представили к награде. Так что ваше предложение, товарищ Краснов, вполне своевременно, уместно и рационально...

## 16. НАЙДЕНЬШ

По всему Карельскому фронту, от Онежского озера до Заполярья, до Рыбачьего полуострова, что далеко на побережье Баренцова моря, к весне сорок третьего года прочность обороны не вызывала сомнений. Когда мы начнем наступление, было неизвестно. Но пока непосредственной подготовки к нему не велось.

Весной в районе Ухты на освобожденные от снега поля вышли с лопатами и мотыгами, выехали на лошадях и тракторах с плугами около тысячи бойцов. Составив винтовки в козлы на луговине, раздевшись до нательных рубашек, они, соскучившиеся по труду земледельца, с большой охотой работали на запустевших полях и огородах.

А впереди, в нескольких километрах, почти не переставая, была вражеская артиллерия, нащупывая наши расположения и огневые точки.

Краснов также выделил из своего батальона на работу сорок бойцов.

По шоссе к взрыхленным полосам грузовые машины подвозили картофель для посадки и семенной овес.

В одном месте девчата из банно-прачечного отряда разбива-

ли мотыгами грядки для овощей. Кто-то, проходя, скептически заметил:

— Не зря ли стараетесь? Не думаете ли еще до осени здесь околачиваться? Не сегодня—завтра двинемся в наступление, и все тут у вас подсобное хозяйство останется.

— Что ж,—отвечали девушки,—тем лучше. Мы с вами наступать, люди вернутся сюда, на свои обжитые и временно покинутые места, нас добрым словом вспомнят, спасибо скажут. Вот увидите, сколько тут добра к осени вырастет!..

— Чем глупости говорить, взяли бы лопатку да с нами в ряд,—предложила одна из девушек.

— Куда ему? Он боится галифе запачкать.

— Молодцы, девчата! Так его отбрили! Правильно! Каждая картошина—удар по врагу. Вон, говорят, в Ленинграде Марсово поле, Летний сад и все подходящие места взрыли под овощи. А здесь столько земли, да еще земля-то какая!

Я взял горсть и, рассыпая ее между пальцев, спросил:

— Что вы тут хотите сажать?

— Морковь!

— А свеклу?

— И свеклу будем, и лук, и чеснок... Только вот там—на загорье, а здесь нам приказали одну морковь.

— Кто приказал?

— Майор тут один понимающий в агрономии нашелся.

Я разыскал майора, руководившего работами, разговорился с ним и узнал: под картофель спланировано обработать земли сорок пять гектаров, под капусту—триста, под морковь и другие овощи—сорок пять, посевом овса и ячменя ведает не он, а другой офицер интендантской службы, и под яровые вспахано уже двести с лишним гектаров.

Уходя с поля, я невольно вспомнил о недавней беседе с генералом в нашей землянке и дельном предложении комбата Краснова. Неспеша, вразвалку возвращался я к себе в батальон. Картина мирной работы на огородах отвлекла мои мысли от войны. Я подумал об Архангельске, о семье. Вспомнились мне юношеские годы, когда шестнадцатилетним безусым энтузиастом ушел я добровольно служить в Красную Армию и в липовых лаптях, в рваном полушубке, с австрийской трофейной винтовкой шел освобождать от белогвардейцев и интервентов Архангельск. В этом суровом и незаманчивом северном городе я поселился потом, быть может, именно потому, что в феврале двадцатого года, вдохновенно, как победитель, протопал по его изрытым мостовым в своих многоклетчатых лаптях...

В раздумье я шел по песчаной дороге и не обращал внимания ни на журчанье ручья в глубоком овраге, ни на зелень, появив-

шуюся на обогретых солнцем пригорках. Размышления мои неожиданно были прерваны пробежавшей мимо собакой. Она—тощая серая овчарка—одиноко и неторопливо бежала по обочине песчаного проселка, останавливалась, оглядывалась, нюхала воздух.

«Может, бездомная»,—подумал я и ласково подсвистнул. Собака остановилась, посмотрела на меня усталыми, умными, почти человеческими глазами, осторожно, с оглядкой подошла, понюхала, хотела итти прочь. Наугад я позвал ее:

— Джульбарс!.. Джульбарс!..—и погладил ее по жесткой серой шерсти. Собака наострила уши. Быть может, и в самом деле ее так зовут? В кино на экране я когда-то видел такую собаку, ее звали Джульбарсом. Если у ней нет хозяина, не плохо бы ее приласкать, приручить. Такая в разведывательном батальоне пригодится. Не долго думая, я снял с себя ремень и, пристегнув к ошейнику овчарки, повел ее рядом с собой. Она повиновалась.

В землянке, передавая пса связному, я сказал:

— Вот, прошу любить и жаловать. По всему видать—беспризорная; смотри, Ефимыч, у нее бока-то провалились; подкорми как следует; держи на привязи, чтоб не убежала, да устрой для пса будку...

— А как мы ее назовем?

— Можно Находкой.

— Не подойдет,—возразил Ефимыч,—лучше—Найденыш—это кобель.

— Ну, тогда пусть Найденыш.

Ефимыч вывел собаку наружу и привязал к протянутому от дерева до дерева телеграфному проводу. Найденыш тоскливо и безнадежно посмотрел на Ефимыча, рванулся, но привязь выдержала, только проволока гулко прозвенела. И Найденыш смиренно сел в тень под дерево. Ефимыч вынес ему две консервных банки: одну—с вчерашними щами, другую—с остатками пшенной каши и хлеба. Найденыш покосился, но даже не понюхал и не прикоснулся к пище. На другой день Ефимыч принес собаке ворох костей. Найденыш отбежал в сторону, жадно нюхал воздух, пускал слюну, но к костям, как они ни были приманчивы, не подошел.

Ефимыч жаловался:

— Собака нам не ко двору. Может, отпустить ее?..

— Нет, не надо отпускать. Сведи-ка лучше Найденыша в ветлазарет. Там есть такой ветврач второго ранга Игорь Иванович.

— Знаю,—отвечал Ефимыч.

— Ну вот, пусть он посмотрит собаку и даст свое заключение, может, она больная...

Ефимыч сводил Найденыша к ветврачу. Тот определил:

— У собаки все в порядке, истощена немного. А внутренности, дай бог нам с вами такие. И аппетит есть—смотрит на пищу и слюну пускает. Не ест же, потому что не доверяет новым хозяевам. Бойтся отравы. Собака, видать, не глупая,—так и дожите капитану.

На третий день Найденыш, убедившись в хорошем к нему отношении, решил приняться за пищу и ел с собачьей жадностью без разбора все, что только могло быть им съедено. Наконец, Найденыш признал меня полным своим хозяином. Оказалось, пес был обученный. Скажешь: «Ложись»!—ляжет. «Иди сюда!»—подойдет и уставится глазами в лицо. «Подай голос!»—тявкнет резко, отрывисто, один раз и не больше... Значит, собака не с финской стороны, не фрицевской выучки, хотя и немецкой породы.

Заметил я за Найденышем и другие свойства: начнется вывало обстрел, завоют мины и снаряды,—прижмет уши, съезжится и бежит в ложбинку, прячется. Особенно боялся самолетов. Как только загудит самолет,—не важно чей—Найденыш начнет бесноваться, урчать, подвывать—места себе не находит. Пролетит самолет, Найденыш встряхнется, протянется и, стыдливо пряча глаза, уйдет куда-нибудь, часа два не возвращается. Вернется, морда виноватая, смотрит застенчиво, как будто хочет сказать хозяину: «Извини, что зря струхнул, почем мне, собаке, знать—чей это был самолет, наш или немецкий».

Немало в дивизии находилось охотников до этой собаки. И комдив и начштаба,—все просили меня уступить им Найденыша.

— Ни за что!

— А к чему она тебе?

— Как к чему? Мне очень даже нужна собака. Пригодится, будем с собой в разведку брать.

— Подведет.

— Возможно. С этим спешить нельзя. Надо изучить ее сноровки.

Однажды наши разведчики привели в батальон двух пленных. Найденыш увидел и, не подавая голоса, с полного хода бросился на одного из них—и под себя. Другой от страха сам к земле прижался.

Разведчики стоят, не знают, что делать, а Найденыш лежит, положив передние лапы на грудь пленного, рычит и ни с места.

На шум вышел комбат Краснов, удивился:

— Не знал я такой выучки у собаки. Найденыш, прочь!—Разведчиков спросил, не укусила ли которого.

— Нет,—отвечали бойцы,—не укусила, только обоих к земле прижала. Стало быть, сноровку имеет по этой части...

Тогда мы решили брать Найденыша в разведку. Обычно он вел себя очень тихо, осторожно. Но однажды летом случилось так, что в разведке Найденыш был вынужден залаять. Шли тогда бойцы осторожно, ступая один за другим, соблюдая полную тишину. Найденыш вдруг почуял что-то подозрительное, бросился от разведывательной группы в сторону, в лес. Бойцы рассыпались под деревья, притихли, притаились. Прошла минута, две. И вдруг неожиданно—гавк!..

— Черт возьми! Предаст своим тьяканьем,—выругался я.— Однако, ребята, что-то неладное она заметила...

Раздвинув кусты я с несколькими бойцами пошел туда, откуда донесся голос овчарки. И мы увидели: Найденыш, распластав между кочек немецкого разведчика, лежал у него на груди, зубами он крепко стиснул его руку, из которой вывалился автомат с продолговатой обоймой.

Пленного подобрали.

— Ну как, собачка стоящая?

— Золото, не собака,—отвечали разведчики,—если бы не она, то этот гусь нас бы выследил.

Пленный стоял с поднятыми руками и поочередно смотрел на всех нас помутневшими, как от угара, глазами. Его обыскали. Ничего особенного при нем не было: карта, компас, автомат. Железная бирка с номером, привязанная к шее, свидетельствовала о подлинности его арийской крови. Еще обнаружили при нем записную книжку, новенькую, без единой записи, несколько порнографических карточек и вместе с ними в бумажнике черный Железный крест. Фашист, опустив руки, сказал: «Капут Гитлер—Гитлер капут!» Пошарив в кармане брюк, он достал скомканную советскую листовку с текстом на немецком языке, ткнул пальцем в то место, где в рамке был отпечатан призыв и пропуск для перехода на сторону Красной Армии.

Затем он молча взял из моих рук Железный крест, повертел его на грязной ладони, плюнул на свастику и швырнул крест в траву.

Найденыш, наблюдавший за пленником, обнюхал траву, схватил зубами брошенную фрицем награду и принес мне.

— Молодец, Найденыш,—погладив его, сказал я,—что ж, раз фриц бросает орден, носи ты!—и прицепил крест к ошейнику собаки.

## 17. ДИВЕРСАНТЫ

Меня вызвали в штаб. Начальник отдела начал с того, что рассказал мне целую историю.

— Не дальше, как вчера, к нам явился с повинной диверсант.

Он выложил на стол порядочную сумму денег, фальшивые документы, развернул вещевой мешок, наполненный наполовину продуктами, наполовину взрывчаткой, и говорит: «Я—немецкий шпион, готовился в специальной школе диверсантов-шпионов. Документы мои «липовые». Фамилия моя такая-то». Стали мь дознаваться, наводить справки—действительно, он значился в немецком плену. Да и не может же человек на себя такое наговаривать. Дальше он рассказал, что немцы его и еще четырех шпионов выбросили с парашютами в район Шомбы, то-есть в нашем тылу, километров за сто отсюда, в сторону города Кеми. Каждый из них располагает большой суммой денег, имеют они взрывчатку для диверсий на тракте; есть у них рация. По словам пришедшего с повинной, все четверо изменников сдаваться не думают. Значит, при поимке могут оказать сопротивление или покончить с собой. А нам крайне желательно взять их живыми. Я направил туда взвод бойцов, но что из этого получится—не знаю. Сейчас лето: тепло, обилие ягод, каждый кустик ночевать пустит. Я это к тому говорю,—добавил он,—не можете ли вы дать мне несколько ловких разведчиков, пусть ваши ребята попытают счастье и помогут нам в этом деле.

— Можно!—согласился я.—Выделю самых боевых хитрецов, только покажите на карте, где ваш взвод занимается проческой. Надеюсь, поселок Шомбу скрытой засадой вы обеспечили?

— Да.

Начальник развернул карту.

— Возможно, они здесь скрываются,—обвел он карандашом. «Искать «здесь» все равно, что искать четыре иголки в стог сена. Однако, попытаемся, чем черт не шутит»—подумал я.

Придя в батальон, я послал Ефимыча за Ибрагимом Загитдулиным.

Невысокий, скуластый, с узкими пронизательными глазами, Загитдулин с автоматом поперек живота через несколько минут прибежал ко мне в землянку.

— Прибыл, товарищ капитан, по вашему приказанию.

— Садись, Ибрагим.

Он осторожно сел на край табуретки.

— На тебя, Ибрагим, моя надежда: подбери по своему усмотрению четырех пареньков, посмелей и порасторопней. Назначаю тебя старшим этой группы. Отправитесь километров за сто отсюда...

— Ой, как далеко, в самую Финляндию?

— Нет, Ибрагим, в наш тыл на сто километров.

— Ну, это совсем просто, товарищ капитан.

— Нет, не совсем просто, слушай, Ибрагим, дальше...

Я подробно изложил ему задачу, указал, где и как надо действовать, как, в случае обнаружения диверсантов, обмануть их, захватить и привести в батальон.

— Понятна задача?

— Понятна, товарищ капитан.

— Сроку дается десять суток. Да учти, Ибрагим, что у такого ловкача и старателя, как ты, одной медали на груди скучно! Понятно?

— Понятно, товарищ капитан, скучно, товарищ капитан,—ответил Загитдулин, искоса взглянув на свою сверкающую медаль, и широко улыбнулся, отчего глаза у него сделались еще уже, а ровные частые зубы блеснули светлей серебра...

...Район, где приземлились шпионы-диверсанты, славился болотами. Ягоды росли там в изобилии.

И почему знать местным девчатам, что в лесу их подстерегает опасность. Разодетые в цветистые платья, они собирали ягоды неподалеку от поселка. Одни из них молча занимались своим делом и озирались по сторонам, а две девушки впереди беспечно и голосисто наперебой распевали частушки.

Пела одна из них таким трескучим дискантом, что за километр, если не дальше, разносилась ее песня-коротушка.

И вдруг частушки оборвались. Девушки-певуньи, увидев кого-то, взвизгнули и, прячась в кусты, закричали:

— Ой, девоньки, девоньки, убегайте! Тут четверо каких-то!..

— А мы не звери, вас не слопаем,—отвечали те, и вчетвером кучей шли к перепуганным девушкам, смеясь и подзывая их к себе. Тогда девушки осмелились, с оглядкой стали сближаться с неизвестными. Две из них, делая вид, что стыдливо прячутся за кустами, вытаскивали из под цветных сарафанов автоматы, обнажая при этом солдатские обмотки, винтообразно спускавшиеся с колен к тупоносым подкованным ботинкам.

Диверсанты смекнули с опозданием.

На повелительный, грубый, далеко не девичий голос, пришлось поднять руки и сдать. Да иначе и нельзя было, так как одна лишь певунья оказалась девушкой из Шомбы, да и у той в корзине—две гранаты.

А все остальные были бойцы из нашего батальона во главе с хитроумным Ибрагимом Загитдулиным...

## 18. ХОЗЯИН НАШЕЛСЯ

Летние фронтовые будни шли своим чередом. Карельское лето коротко, но зато солнце светит круглые сутки и в разгар белых ночей почти не успевает зайти за горизонт.

В один из таких дней в добром настроении я с Найденышем совершал прогулку по Ухтинскому тракту. Шел я медленно, любясь на обширные поля, поросшие зеленой ботвой картофеля, и сердце радовалось за будущий хороший урожай. «Все же хоть и не великое дело сделали, а поддержка есть»,—думал я, проходя дальше и осматривая уходящие к окраине леса длинные полосы капусты, квадраты волнистого овса и ячменя. А умный пес, высунув язык, тихонько бежал и бежал впереди меня.

Из-за поворота шоссе выскочила запыленная легковая машина комдива. Поровнявшись со мной, она остановилась. Вышли двое: комдив и с ним подполковник в форме пограничника. Поздоровались.

Полковник, улыбаясь, заговорил со мной:

— Везу для вас две приятные новости: первая—командование армии от имени правительства наградило вас орденом Красной Звезды. Поздравляю.

Я ответил, как положено.

— Вторая новость—вы получаете новое назначение. Тот генерал, который был у нас, настоятельно порекомендовал вас в адъютанты к одному большому начальнику одного из отделов штаба армии.

— А вот за эту новость не знаю, стоит ли кого благодарить,—расстроено ответил я.—Мне и здесь не плохо.

— Ничего не поделать, приказ подписан, я тоже за то, чтобы вы были здесь.

— Скажу по совести, это меня не радует.

Подполковник в пограничной форме с любопытством издали наблюдал за собакой. Вдруг остановился и, дернув меня за рукав, нетерпеливо спросил:

— Это ваша собака?

— Моя.

— Собственная?

— Собственная.

— Интересно. Вот посмотрим, ваша ли?—Подполковник перебьчи сунул два пальца в рот и свистнул. Собака насторожилась.—Казбек! Казбек!—закричал он.

Сначала собака застыла на месте, потом, припрыгнув, со всех ног понеслась на зов подполковника и бросилась ему на грудь.

— Казбек, черт этакий, где ты столько пропадал?!—Казбек виновато подвывал, ласкаясь, лизал руки у своего старого хозяина.

Я рассказал, как собака попала ко мне.

— У меня его в Кеми украли и вот уж никак не ожидал, что найду,—сказал подполковник, обнимая собаку.

До чего мне стало жалко расставаться с Казбеком-Найденышем.

— Вот вам, товарищ капитан, от меня на память,—подполковник отстегнул от ремня изящный с разноцветной наборной ручкой финский нож. На конце рукоятки в виде набалдашника чьей-то умелой рукой была сделана и привинчена серебряная собачья голова, а на блестящем лезвии любовно и тонко выгравировано, как имя близкого друга,—Казбек.

Я не мог и не пытался отказать от подарка. Казбек, видно заметив мою грусть, вдруг, виляя хвостом, подошел ко мне, встал на задние лапы, передними уперся в грудь и лизнул мою щеку.

— Ах, ты, черт этакий! Ну, прощай, Найденыш, прощай, Казбек, ступай к старому хозяину,—сказал я, глядя его.

Трогательно и вежливо, совсем по-дружески Казбек сунул мне лапу, покрутил головой.

Честное слово, в эту минуту у меня чуть-чуть слезы не выступили.

За Казбеком хлопнула автомобильная дверка. Он деловито уселся, видимо, ему было привычно ездить в машине со своим хозяином.

— Может, с нами поедете обратно?—спросил комдив.

— Нет уж, лучше я здесь поброжу.

— Броди, броди, только на чужих собак не зарься,—пошутил он, и машина сорвалась с места.

Возвратясь в землянку, я первым делом поделился с Ефимычем всеми новостями.

— От души поздравляю с наградой. Пусть будет не последняя. Ужели, товарищ капитан, теперь нам придется расстаться?—тоскливо спросил связной.

— Придется, Ефимыч. По новой должности мне связной не полагается. Ты мне пиши. Быть может, еще и встретимся.

Я сел за стол и написал Ефимычу рекомендацию в партию—об этом мы уговорились еще накануне.

## 19. С ОДНОГО МЕСТА НА ДРУГОЕ

Я уезжал из батальона по тому же единственному Ухтинскому тракту, бегущему через бесконечный дремучий карельский лес. Лес, лес и лес... И мне, сидящему в кабине рядом с шофером, казалось, что я уже настолько привык к окружающей обстановке, что обыкновенные, ничем не привлекательные деревья становятся в моих глазах живыми представителями суровой карельской природы, с которыми даже хочется поговорить... Колченогие сосны, низкорослые раскоряки, неуклюже, но крепко цепляются своими корнями, борются за каждую пядь земли, за каждую щель в скале, где только есть хоть кусочек земли и влаги. Эти

невзрачные деревья очень жизнеспособны, крепки и, несмотря на свою скромную и, кажется, хилую внешность,—корнями ворочают камни, силой упрямства, настойчивости утверждают себя в жизни.

И есть стройные деревья. Красивые великаны с обширными изящно подобранными кронами бархатно пушистых ветвей. Они, надменно возвышаясь над другими, любясь собою и, как бы посмеиваясь над «мелкотой», говорят внешним видом своим: «Ну куда вы годитесь? Вы без нас ничто, вы—мелколесье и только». Но они, хотя и великаны, живут под тем же солнцем и питаются соками той же матери-земли, которая создала выносливых и безответных их собратьев. Забывая об этом, они, иногда по причине собственного высокомерия, забывают пускаться вширь и вглубь свои корни, а беззаботно тянутся ввысь, лишь бы через головы других не то чтобы дальше видеть и знать, что происходит вокруг,—а показать себя.

Некоторые люди, мало знакомые с лесной природой, увидев этих гордецов, приходят в восторг: «Ах, какое дерево! Какое красивое, матерое». Но вот подходит опытный, искушенный в своем деле лесоруб. Он пристально и почему-то недоверчиво осматривает красавца, затем обухом топора два—три раза ударяет по его стволу. Дерево издает глуховатый стон и осыпает лесоруба остатками прошлогодней хвои. Тогда лесоруб разочарованно отходит прочь и говорит: «Велика Федора, да дура: с дуплом, в поделку не гоже». Зазнавшееся лесное высочество, не заботясь о более тесном родстве с землей, от худосочия действительно хиреет, и в его сохнувшей вершине даже подслеповатая сова и та не ищет себе убежища. Разве дятел старательно будет долбить его носом и искать под корой подгнившего великана насекомых, в которых там нет недостатка. И тогда лесоруб решает:

«Ага, ты с гнильцой, так не ждешь же когда ты сгниешь на корню окончательно и бесповоротно. Ты только своей внешностью обманываешь людей. Твое величие—призрак. На самом же деле твое назначение—размениться на дрова». И лесоруб, плюнув на ладони, берет топор и с треском валит дерево на землю. Окружающее его мелколесье теперь воочию убеждается, что сердцевина великана давненько была охвачена неведомой заразой и очаг этой заразы глубоко распространился; хорошо еще, что нашелся добрый человек и избавил лес от столь опасного и кичливого гордеца, даже заслонявшего солнце, которое в здешних местах и без того светит и согревает все растущее и живое весьма скупно.

Мелколесье приветливей шелестит ветвями, еще глубже пускает корни в землю, радуется и растит крепких молодцов, под сенью которых и жизнь становится приятней...

Не так ли и с людьми бывает иногда? Прет и прет какой-нибудь карьерист вверх, а сердцевина его оказывается—гнилая...

Так размышлял я, озираясь по сторонам шоссе, уходящего на сотни километров в бесконечные лесные просторы. Когда едешь далеко, быстро и молчаливо, думается много. И мысли чередуются, быстро сменяясь, как меняется на первый взгляд серый, но вместе с тем бесконечно разнообразный карельский пейзаж.

Служба на новом месте оставляла мне много свободного времени. Я имел возможность читать военную и художественную литературу.

Но адъютантом пробыл я недолго. Мой «хозяин» вскоре получил другое назначение и уехал. Воспользовавшись этим, я стал проситься у нового начальника отпустить меня в часть. Он не стал удерживать и через несколько дней порадовал меня вестью об откомандировании на линию обороны за Онежское озеро.

— Мне там кое-что знакомо. Бывал осенью в первый год войны.

— Тем лучше,—добродушно сказал начальник,—можете готовиться к отъезду. Ехать придется через Обозерскую, Вологду, а там с Череповца пароходом до Вытегры. У вас семья, кажется, в Архангельске, заверните по пути, и для вас приятно, и для семьи сюрприз.

— Большое спасибо!—обрадовался я,—большое спасибо.

Через два дня я был в Архангельске.

После двух—трех бомбежек и незначительных пожаров от фугасок и зажигалок, город внешне мало изменился. Только еще от вокзала, с левого берега Двины, я заметил, что громадное здание института взрывом фугаски и пожаром выведено из строя. А когда проходил мимо разрушенного здания, то мне показалось, что и бронзовый Ломоносов стоит на пьедестале, чуть-чуть покачнувшись от воздушной волны. Но выстоял и стоит, устремив глаза на север, стоит с той же присущей ему поморской «благородной упрямкой»!

В семье меня, конечно, не ждали. Пришел я в обыкновенный будничный сентябрьский день. Жена была на работе в школе. Сын сидел за столом над задачкой. Обрадованный моим появлением, он бросился в мои объятия.

— Папа, говори, чего привез мне с фронта?

— Ничего особенного, сынок, ровным счетом ничего. А впрочем, развязывай мешок, если что есть подходящее для тебя—забирай.

И пока я говорил по телефону с женой, сын распотрошил мой походный вещевой мешок, обнаружил в нем бинокль, карманный фонарь, флагу, компас, финку, отложил все это и сказал весело:

— Папа, это мне все пригодится играть в войну, а себе ты добудешь там еще.

— Забирай, забирай, только финку не тронь, тебе рано пользоваться холодным оружием, а у меня это память о хорошей собаке.

— Вот спасибо-то! Теперь я буду у ребятни за главного командира. Ни у кого нет столько снаряжения. Жаль, мама мелкокалиберку куда-то от меня запрятала. Папа, а ты за термос не сердисься?

Я вспомнил, что жена писала мне в одном из писем, как сын, играя с ребятами, набил мой термос порохом, провел к нему фитиль, поджег его и взорвал.

— Да что с тобой поделаешь!—сказал я.—Спасибо, что себя не угробил. Ну, если бы я в ту пору был дома, пришлось бы стегануть ремнем раз десяток...

Сын недовольно посмотрел на меня, нахмурился. Спросил:

— Из-за такого-то пустяка?

— Как из-за пустяка, да ведь тебя могло убить или изуродовать!

— Ну, убить! Фитиль был длинный и пока догорел до пороха в термосе, я убежал за сарай и еще ждал долго, когда рванет.

И сразу, чтобы не задерживаться на этом неприятном инциденте, он спросил:

— Ты надолго приехал?

— Только на два дня.

— Ух, как мало! Я от школы попрошу освобождение на два дня, Клавдия Михайловна отпустит, и похожу с тобой по городу; покажу, где падали полутонки и четвертьтонки. У меня было много, много осколков и стабилизаторов, я все в утиль сдал на переплавку. А потом куда поедешь?

— Снова на фронт. Пойдем, покажу на карте, где я был, и то место, куда теперь переезжаю.

В соседней комнате когда-то висела на стене большая карта Европы, наклеенная на серый коленкор. Теперь эта карта заменяла на окне выбитые воздушной волной стекла и служила светомаскировкой. Мы попутешествовали по этой карте, а потом, пока не пришла мать с работы, он донимал меня всевозможными вопросами.

## 20. СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ

Подразделение, в которое я прибыл, занимало участок обороны примерно в той местности, где осенью сорок первого года мне пришлось быть в командировке. За прошедшие два года здесь,

на первый взгляд, как будто никаких изменений не произошло. Но это только на первый взгляд. На самом деле, теперь здесь стояла закаленная в боях дивизия, в полной мере обеспеченная артиллерией. Дивизия, как и весь Карельский фронт, после октября 1941 года ни на шаг не отступала, а теперь готовилась к наступлению, о котором уже поговаривали, что оно не за горами, и будет, обязательно будет, в зависимости от обстановки и в сочетании с общими успехами наших войск на других фронтах Отечественной войны.

С майором Романенко, на место которого я прибыл, мы обходили подразделение.

— Скажите, товарищ Романенко, а связного своего вы мне оставите или, уезжая, заберете с собой?

— Заберу. Думаю, что и он возражать не будет.

— Эх, у меня был Ефимыч! Жалко, оставил его еще на Ухтинском направлении. Оригинальный мужичок, честная душа и не из робких. Такого, пожалуй, больше не подыскать.

— Если вы любите оригинальных, так чем вам плох будет Сергей Петрович Борода!

— Да, с таким скучно не будет,—подтвердил связной Романенки,—он тут неподалеку, копается, строит.

— Его у нас в дивизии,—говорит Романенко,—по имени, по отчеству все зовут. А иногда называют просто-напросто Бородой, и все знают, о ком речь идет. Да вон, полюбуйтесь, Сергей Петрович опять кому-то землянку строит...

Мы подошли ближе. Сергей Петрович стоял внизу под козлами и продольной пилой вдвоем с напарником распилывал основное бревно на доски. Желтые опилки сыпались ему на голову, застревали в бороде. А борода с каждым взмахом пилы встряхивалась над его могучей грудью, порой обнажая на ней медаль «За боевые заслуги».

— Здравствуй, Сергей Петрович!—поздоровался я, как со старым знакомым.

— Здравия желаю, товарищ капитан,—ответил он, опуская пилу.

Мы уселись на бревна около свежесырытого котлована для землянки. Я угостил его табачком. Сергей Петрович свернул цыгарку необычайной толщины, оговорившись, что из легкого табаку никак нельзя тоньше.

— Давно куришь, Сергей Петрович?—повел я разговор издалека.

— Давно, парень, почитай с пятнадцатого году стал похватывать, когда вот так в ту войну попал на службу и был бомбардиром-наводчиком. А ноне-то зрение начало сдавать, не гожусь в наводчики. В этом деле глаз да глаз нужен и вычеты знать, те-

перь пушки не те, стреляют уж не по тем тарифам. Посмотришь, у «горняшки» и дульце-то все не длиннее голенища, а, говорят, за восемь верст палит. И «катуша», вообще это не моего ума диковинка. Так наш брат, видишь, чем занимается: рубим, пилим, копаем, строим и то польза есть...

— А и крепок же ты, старик,—восхищаясь его могучим сложением, заметил я, глядя на его широкие плечи и сильные узловатые руки.

— Ну, разве это крепость!—усмехается Сергей Петрович,—вот у меня отец был, царство небесное, на восьмидесятом году скончался,—вот это был мужик! Бывало мешки по четыре-то пуда так и на спину не брал, а подмышки, под ту и другую, возьмет и легонько тащит. Ну, он, покойничек, ни капли горькой в рот всю свою жизнь не брал. А я вот свои законные сто граммов никому не уступаю. Сам пью. И насчет табачного зелья. Отец всю жизнь осторожен был, не курил, потому как табак, по его мнению и по преданиям стариков,—есть дьявольское навождение. И начал он расти таким побытом: когда Христа-то распяли, а богородица шла и плакала в Гефсиманском саду, и там, где ее слезы капали, трава с корнем выгорела. А черт позади шел невидимкой и сеял по тем местам табак... И курить его люди стали черту на радость.

— Сергей Петрович, может это неправда?

— Не знаю, не я выдумал. А старики тоже кое-что знали...

Разговор зашел о войне. Сергей Петрович начал мне доказывать, что всякая порядочная война бывает не меньше трех лет и что трудно угадать, когда ей конец. Никто этого не знает и сказать не может.

— Важно то, что мы победим,—авторитетно заключил он и тщательно потушил дымящийся окурочок, намереваясь снова взяться за работу.

— Не надоедает, Сергей Петрович, эта работенка?

— Никак нет, товарищ капитан, пока живы, должны трудиться.

— А не возражаешь, если я возьму тебя к себе в связные?

— Премного благодарен, только я староват и на ноги не прыток.

— А я бегать тебя и не заставляю.

— А вы кто, простите, будете?—прищурясь, поинтересовался Сергей Петрович.

— Да вот вместо товарища Романенко служить буду.

— Так-так, премного благодарен. Когда прикажете приходиться?

— Закончишь это дело и приходи. Землянку знаешь?

— Та, что у товарища Романенки? Как не знать, своими руками строил. Лесок был сыроват, еле просушили...

Идя со мною по траншеям в огневые точки взводов, Романенко, довольный тем, что мне понравился Сергей Петрович, не без гордости говорил:

— Я, дорогой товарищ, здесь за год службы каждого солдата по всем косточкам изучил, не могу же я вам порекомендовать, скажем, Кисельникова, этот и труслив, и вороват. Или того же Козырева...

— Козырев, товарищ майор, по моему мнению, не плохой человек,—заступился шедший с нами связной.—Козырев не подведет ни в чем. А Кисельников, да, это жук, нарочно в начале войны растрату произвел, хотел от войны в тюрьме отсидеться...

— Позвольте, Кисельников,—это не из Архангельска ли бывший завмаг?

— Точно, из Архангельска.

— Так я его чуть-чуть знаю. Где только встречи ни бывают, где только дороги ни сходятся...

## 21. ЧТО СТАЛО С ЕФИМЫЧЕМ

Об этом я могу судить по двум объемистым письмам, полученным от него самого, и по рассказам одного офицера, приехавшего с Ухты...

Жена Ефимыча, как мне уже было известно, осталась на оккупированной немцами и финнами территории. Единственный сын их Ванюшка был в партизанском отряде. Изредка от Ванюшки Ефимыч получал письма, но о жене никаких сведений не имел, и это его немало удручало. После того как я выбыл с Ухтинского направления, Ефимыч, не привыкнув к новому своему начальству, задумал расстаться с должностью связного и перейти в одну из рот служить, как положено обычному солдату. Эта мысль особенно окрепла у него, когда однажды комбат, уходя по делам службы, приказал Ефимычу придумать способ ловли мышей, появившихся в землянке.

— Товарищ комбат, да их все равно всех не переловить,—взмолился Ефимыч,—тут их в лесу полно.

— А ты попробуй.

И Ефимыч стал «пробовать» столь необычное для него занятие.

— Хоть бы кто-нибудь не зашел в землянку,—думал он, устраивая приспособление для ловли мышей.

И вдруг, как на зло, в землянку зашел красноармеец Мухин, о котором я уже рассказывал. Зашел Мухин с письмом для Ефи-

мыча и видит: на полу лежит полуопрокинутая оловянная тарелка. Один край у тарелки приподнят и подперт палочкой, а от палочки тянется ниточка за перегородку. Под тарелкой крошки хлеба и рисовой каши. Заглядывает Мухин за перегородку, а там, скорчась, сидит Ефимыч и прищуренным глазом наблюдает в щель за ловушкой.

— Мышей ловишь?—догадался Мухин и ехидно улыбнулся.— Ничего себе занятые! Ну как, клюет?

— Да ну их, проклятых,—хмуро отозвался Ефимыч,—спать проклятые мешают, все и шебаршат, шебаршат, да такой писк поднимут—не уснешь. Трех уж прихлопнул, выбросил...

— Эх, Ефимыч, Ефимыч,—с деланным прискорбием заговорил Мухин,—придешь домой после войны, жонка спросит: «Чем, Ефимыч, на фронте занимался?» А ты ей: «Мышей в землянке ловил!» Она скажет: «Так за каким ты чертом казенный хлеб жрал? Вместо тебя любой котенок в десять раз лучше справился бы».

— А где ж тут котенков-то возьмешь?

— Нет—и не надо. Мышонок—это не фриц, а тварь божья, надо и мышонку дать жить,—заметил Мухин и подал Ефимычу письмо—треугольничком свернутый пакетик:—На-ко вот, почитай, кажись, от сына тебе.

— Вот спасибо. Редко пишет парень. Все некогда, в отряде по тылам рыщет.

— Не всем же мышей ловить,—насмешливо бросил Мухин и, осторожно закрыв дверь, ушел, оставив за собой мутное облако махорочного дыма. Ефимыч бережно развернул письмо.

*„Дорогой мой отец и родитель, Фрицпонг Ефимыч,—писал сын,—прости, что пишу редко, спешу сообщить тебе новость, мы спать ходили на дело, а на какое—сам знаешь, все описывать нельзя,—надо хранить военную тайну. Расскажу при встрече, где мы были и что там наделали, в общем командование осталось довольно. Были в этот раз и в нашем селе, половину его немцы и финны спалили. Соседи рассказывают, что они очень допытывались кого-нибудь из наших родственников, хотя бы и дальних, чтобы повесить на виду у всех на пепелище, где стояла наша изба, там теперь для острастки повешены два пленных бойца, никому неизвестно, кто они. А произошло все это потому, что наша мама терпела, терпела и в последок выкинула такую штуку (пишу со слов соседей, у которых я прятался двое суток)—в нашей избе поселился было немецкий ефрейтор, он заставлял маму готовить ему обед, ставить самовар, мыть, стирать, всякую грязь убирать за ним. А добился он вот чего: однажды ефрейтор заставил маму вскипятить ему два чузуна воды и вымыть ему паршивую голову. Мама согрела воды, намылила ему башку. И как ей надоумился, сам не знаю—помнишь, отец, у нас на шестке валялся австрийский штык, ты его принес с той войны и двадцать лет лучину щепали им. Подвернулся он маме под руку, и она его сразмаху всадила немцу в шею, а в горло выставился. С того часу маму ищут, но не находят. Не иначе, она ушла к партизанам, а те ее через фланг переведут, и ты не беспо-*

*койся. А изба—дело наживное, после войны построим новый пятистенок получше старого. Вот, отец, какая у нас мать. Она открыла счет мести, так давай будем его продолжать.*

*Твой сын сержант Иван Ферапонтович“.*

— Вот это да. Вот это номер!—изумился Ефимыч.—Да как она это осмелилась. Сын партизанит, жена немца прикончила, а я мышей ловлю! Тьфу!.. Да я после этого могу сам себя возненавидеть!.. Нет, надо по-настоящему воевать. А я тут—вроде бы в обозе, да на самой задней телеге!..

И Ефимыч перестал быть связным у моего преемника.

## 22. ВСТРЕЧА СТАРЫХ ЗНАКОМЫХ

Между тем, по соображениям высшего командования, на Карельском фронте шла перегруппировка сил. С одного направления на другое перебрасывались специальные части и подразделения; перелетали с места на место авиасоединения. Полк, в котором в прошлом еще году я служил с Чеботаревым на Кестенгском направлении, в полном составе перекочевал на подступы к Свири и оказался поблизости от нас. Узнав об этом, я пошел в расположение прибывшего полка. Радушно и приветливо встретили меня старые товарищи сослуживцы. Среди них были и капитан Чеботарев и Аня Афиногорова и разбитной весельчак Аркашка Михашвили. Последний, как только увидел меня, весело бросился навстречу и сжал мне руку так крепко, что у меня захрустели пальцы.

— Доброго здоровья, товарищ капитан, рад вас видеть; есть хорошая русская поговорка: гора к горе не идет, а человек к человеку—с удовольствием. Ух, много нового, товарищ капитан, произошло: я стал младшим лейтенантом, трехмесячные курсы прошел. Вводом команду! И еще новость: Аня—моя жена!..

— Ты это всерьез?

— Совершенно всерьез, до конца жизни. В Кеми написались под мою фамилию оба. На свадьбе десять литров водки было. Вас вспоминали.

— От души поздравляю. Хорошая пара, желаю вам, ну, хотя бы дюжину деток, упорных, как мать, и темпераментных, как отец.

— Спасибо, товарищ капитан. Назначайте правильный срок, ваше задание будет выполнено. Начало уже есть!..

— Как так есть?

— Через два месяца Аня поедет к моим родителям в Сванетию.

— Ай, Аркашка, Аркашка, мог ли я думать, что ты, чертенок кучерявый, такого хорошего снайпера, как Аня, выведешь из строя...

— Ничего, товарищ капитан, она к активным боям подоспеет.

Аня стояла, прячась за Михашвили, и застенчиво улыбалась. Она была, как и прежде, крепка и жизнерадостна, в новенькой шинели, на погонах ее я заметил сержантские нашивки.

— Ты не маскируйся за спину мужа,—обратился я к ней,— а лучше расскажи, как ты не устояла перед этим обольстителем. Ведь я помню: ты не хотела во время войны замуж выходить...

— Так обстоятельства сложились, товарищ капитан, понравился парень. В то время затеял он переписку с двумя заочницами, с какими-то артистками, послал им фотокарточку, ну, от тех отбою не стало: каждую неделю письма и письма, я и решила их опередить...

— Что ж, правильное решение,—одобрил я,—Михашвили парень что надо, с таким не пропадешь. Вот что: скоро будет Октябрьская годовщина, прошу вас ко мне в гости. Обязательно.

— Большое спасибо, товарищ капитан. Где вас искать прикажете?

Я объяснил им, как меня найти.

В тот же хмурый осенний день я ходил в штаб дивизии, там встретил своих старых знакомых Клунова и Малкина, и тоже позвал их к себе в гости.

...В ночь с шестого на седьмое ноября в моей просторной землянке собралось человек десять старых и новых друзей и знакомых. Четыре бревенчатых наката и метровая насыпь земли с булыжником прикрывали землянку от всяких случайностей. Финны бросали мины, но никто на это не обращал внимания. Когда гости уселись за два сдвинутых столика и когда связной Сергей Петрович налил всем по первой порции, я встал и, подняв кружку, обвел всех глазами. Мои гости были одеты в лучшее выходное обмундирование, у каждого на груди сияли правительственные награды.

— Порядок, товарищи, такой,—предложил я,—будем в этот торжественный вечер пить кто за что, но каждый, поднимая свой бокал, перед тем как выпить, должен сказать несколько слов. Итак, поднимая первый бокал (вообразите, что это бокал, а не походная кружка), я хочу сказать первый тост. Кто из нас не помнит, как справляли Октябрьскую годовщину в сорок первом году? Нелегкое положение переживали мы. Уходя, хоронили товарищей, сдерживали врага и, несмотря ни на что, задержали. Не все и не всегда были тогда бодры духом. Чего греха таить, паниковали некоторые. Ведь враг приближался к воротам столи-

цы. И когда были получены газеты, мы развернули их и увидели нашего любимого вождя и его соратников, стоящих на трибуне мавзолея и принимающих парад, и многие из нас тогда невольно прослезились и сказали себе, глядя на портрет вождя и внимая простым словам его мудрой речи: «Мы выстоим! Мы победим!». Да, мы выстояли. Я пью за радость освобожденных сегодня киевлян! За славу и гордость русского оружия, за здоровье нашего великого стратега товарища Сталина!..

В землянке прозвучало «ура!»

Поднимая свой бокал, майор Клунев сказал:

— Выпьем еще за наш крепкий, надежный советский тыл, обеспечивающий нас вооружением и всеми видами довольствия. Выпьем особо за тех скромных и незаметных людей, которые своим трудом помогают нам крепить фронт и тыл.

Мы опять понемногу выпили.

— Слово Ане, единственной в нашей среде женщине,—предложил капитан Чеботарев.

Аня подняла стакан и, заметно смутясь, сказала:

— Давайте выпьем за ваших жен, за тех, которые верны своим мужьям, которые с надеждой и терпением ждут вас и заменяют вас у станков, и в поле, и в учреждении. Еще выпьем сразу за ваших детей, самых дорогих и любимых на свете, за наших отцов и матерей, породивших нас на страх заклятым врагам! Выпьем за любовь, которая сильнее смерти!..

— За любовь!—раздались дружные голоса.

— За здоровье наших родных!

И снова все выпили.

— Ну, ты, черноусый красавец Михашвили, за что будешь пить? Держи свою речь,—обратился я к Аркашке.—Пить-то пей, да не слишком. Мы еще заставим тебя под гитару спеть «Сулико» на трех языках—и на русском, и на грузинском, и на азербайджанском...

Михашвили встал, приподнимая бокал, выточенный из головки зенитного снаряда, и торжественно произнес:

— Пью за тот пароход-теплоход, который скоро из Батуми в Одессу пойдет, а я на том прекрасном черноморском теплоходе опять буду матросом! Одесса, Крым и голубое море и небо и горы, все, все снова будет наше!.. И груши, и сливы, и виноград, и персики, и апельсины будут расти больше и краше, чем когда-либо, ибо в советском человеке есть сила создавать то, чего и в жизни еще не было. За наш обильный советский юг, за его окончательное освобождение...

Одним глотком Аркашка осушил бокал, крикнул и достал с железной сковородки изрядный кусок мяса. Закусывая им, он

посоветовал мне впредь своевременно приглашать его готовить настоящий шашлык.

Налили еще по сто граммов водки.

— Дайте слово мне, старому солдату,—спросил разрешения связной.

— Пожалуйста, Сергей Петрович, просим!..

— Давайте выпьем за выносливого и храброго русского солдата, которому нет равного в мире. Да еще за здоровье наших талантливых полководцев, вышедших из простого народа, научившихся хорошо драться, бить немцев в хвост и в гриву. Ведь братья мои, хоть и хорош русский солдат, а при плохом командире трудно ему. Вот я служил в ту войну бомбардиром-наводчиком в Васильковском полку. Гремел тогда громкой славой один честный человек из главных, генерал от кавалерии Брусилов. А были еще фоны да бароны, не верил им наш брат русский солдат. Теперь полководец пошел не тот, не по наследству и не по капризу государыни; теперь наши полководцы—лучшие, что есть из лучшего талантливого народа. Эх, братья вы мои, с такими устоями крепки и нерушимы будут наши солдатские стены!

Звякнули кружки, стаканы, послышались веселые возгласы:

— За счастье и процветание нашей Родины!

— За исполнение желаний советского народа!

Последним говорил капитан Малкин.

— Да, за исполнение желаний,—повторил он.—Черт побери! Неплохо было бы стать полным обладателем фантастического бальзаковского лоскутка шагреновой кожи. Я бы знал, что пожелать тогда: я воскресил бы всех погибших в Отечественной войне защитников нашей Родины, бескорыстных героев, бесстрашно глядевших в глаза смерти. И еще я пожелал бы от шагреновой кожи магического исцеляющего действия на всех раненых и контуженных бойцов наших...

И снова пили наши гости в эту торжественную ночь за радость побед, за нашу Родину, за ее высокие цели. А потом веселились, как могли. Пели и «Ермака», и «Варяга», и «Катюшу», и «Сулико».

## 23. ЭТО БЫЛО НА СВИРИ

Зима сорок третьего—сорок четвертого года на Карельском фронте ничем примечательна не была.

После капитуляции Италии и Румынии, в Финляндии стали подумывать о выходе из войны, но переговоры с финскими представителями в Москве ни к чему не привели; гитлеровские став-

ленники, заправили обнищавшей в войне Финляндии, упрямылись, продолжая рассчитывать на чудо. И тогда стало ясно, что Финляндию надо выводить из войны только силой оружия. Значит, надо наступать, нанести крепкий удар лахтарям.

Развернулась усиленная подготовка всех родов войск к наступлению в условиях лесисто-озерной, болотной Карелии и скалисто-ледяного Заполярья. В короткие зимние дни, в длинные холодные ночи, в свете лучистых россыпей северного сияния батальоны, полки, целые дивизии маневрировали в ближних тылах фронта, учились, зная, что чем больше будет затрачено пота в учении, тем меньше будет пролито крови в бою...

В мае месяце, лишь только бурливые ручьи и многоводные реки освободились ото льда, бойцы нашего подразделения также стали тренироваться в форсировании рек.

Когда-то в юношеские годы мне приходилось работать на баржах «Вологдолеса» то водоливом, то рулевым. Я проводил за пароходами баржи, груженные экспортной древесиной, по всей водной Марининской системе и по Свири. Теперь по этой реке, вот уже скоро три года, не проходил ни один пароход, ни одна баржа. Свирь, связывающая два крупнейших озера—Ладожское и Онежское—была теперь фронтовым рубежом. Но после того как на юге нашими войсками был форсирован Днепр, настала очередь и Свири. Однако перешагнуть ее было не так-то легко и просто. Средняя ширина Свири—триста метров; глубина и быстрота течения таковы, что ни в одном месте в брод ее не перейти. Учитывая все эти особенности, командиры, подготавливая бойцов к наступлению, находили разливы рек и озера, по ширине и глубине подобные Свири, и по многу раз днем и ночью на автомашинах-амфибиях, на плотках, на лодках да и просто вплавь учились преодолевать водную преграду.

Батальон Чеботарева, кстати сказать, ставшего майором, снявшись с линии обороны, проводил учения. Стояли теплые, безоблачные майские дни.

А на фронте попрежнему продолжалось затишье, за которым чувствовалось приближение бури...

Войска Ленинградского фронта прорвали линию обороны на Карельском перешейке. Финны отступали, оставляя населенные пункты, прочные оборонительные сооружения линии Маннергейма, бросая военную технику и другие трофеи.

И тогда многие на Карельском фронте сказали:

— Настал наш черед!..

Двадцать первого июня началось. В районе Свири, в Лодейном поле, в лесах, на подступах к грозной реке, загрохотали на-

ши пушки. Разрушающий ливень металла ринулся на головы финнов. Стоял несмолкаемый гул артиллерийской канонады. Взлетали на воздух обломки финских укреплений, валились, как подрезанные, сосны.

Наш батальон в числе других частей находился под прикрытием леса в ложбине на исходном рубеже. Предстоял самый ответственный момент переправы через Свирь. На другом берегу надобно было высадиться как можно быстрее и с наименьшей затратой сил. Мой приятель Чеботарев то и дело обходил своих бойцов, автоматчиков, пулеметчиков; они, притаившись в кустах и под деревьями, были в приподнятом настроении, много курили, возбужденно разговаривали, некоторые из них осматривали новые просмоленные лодки, волоком через лес доставленные к исходному рубежу. Чеботарев к каждой лодке прикрепил опытных гребцов, людей, выросших на берегах рек, на сплаве, на рыбацких промыслах.

Обходя вместе с ним бойцов, присматриваясь и прислушиваясь к ним, я заметил сидевшего поодаль от других красноармейцев Кисельникова. Будто кем-то и чем-то обиженный, Кисельников был угрюм.

— Здорово, земляк,—обратился я к нему.

Тот быстро поднялся, приветствовал.

— Не о смерти ли задумался? Брось, пустая это думушка!

— Нет, не об этом, товарищ капитан, хуже чем о смерти. Другие мысли гложут. Давно хочу с вами, как с земляком, по душам поговорить.

И вдруг он прямо сказал:

— Доверия мне нету!..

— Чепуха, глупая мнительность. Вам доверено оружие, отличайтесь,—возразил было я.

— Судимость не снята, товарищ капитан, и все на меня смотрят как-то с недоверием...

— А вы докажете делом, дайте товарищам почувствовать вашу силу, вашу совесть...

— Да я готов в любую опасность броситься. Пошлите меня первым на тот берег.

Я опять возразил:

— Дело, товарищ Кисельников, не только в опасности. Кроме опасности, большая честь тому, кто первый выскочит на тот берег и пойдет впереди других. Не обижайтесь. Идите вон туда в заводь; там мой связной Сергей Петрович с плотниками готовит для переправы плоты. Помогайте ему да выберите себе плот и, как будет сигнал форсировать реку, не отставайте от других.

— Есть, товарищ капитан.

В небольшой заводи за опушкой леса человек двадцать бойцов стаскивали в воду бревна и кряжи, сооружали конусообразные, углом вперед, плоты. Сергей Петрович ловко орудовал ручной пилой, составляя и скрепляя кручеными вицами небольшие плоты, способные выдержать до десяти человек со всем снаряжением. Он чувствовал себя здесь за старшего, покрикивал, предупреждал, отдавал распоряжения. Бойцы повиновались ему, как десятнику, понимающему толк в сплотке. Кисельников, пристроившись к нему, стал мастерить два гребных весла с длинными лопастями. Работа кипела. А позади неумолчно гремели наши пушки всех видов, то там, то тут рвались еще снаряды и мины противника, свистели пули. Вражеские огневые точки и доты, скрытые в глубине финской обороны, еще действовали. Отдельные пулеметные гнезда финнов притаились вблизи за рекой, в них еще сидели лахтари и ожидали, когда начнется высадка десанта; ожидали, чтобы в момент переправы обстрелять плывущих через реку бойцов из пулеметов и минометов.

Чуть смеркалось. За Свирью обозначалась золотая заря. Снова с нашей стороны усилился гул канонады. Затем над правым берегом Свири, над остатками финских укреплений прошли на небольшой высоте звенья наших бомбардировщиков. Тяжелые взрывы авиабомб заглушили все: и артиллерийскую канонаду и гул моторов.

— Ну, теперь скоро,—торжественно и тревожно проговорил Чеботарев, обращаясь ко мне и стоявшим около него командирам рот.

Но тут произошла еще одна задержка. В расположении батальона появился начальник штаба дивизии, с ним три офицера артиллериста. Прячась в кустах на берегу реки, они, вскинув бинокли, несколько минут всматривались в противоположный берег. Подозвав к себе Чеботарева, начальник штаба сказал:

— Здесь форсировать реку опасно. Вблизи подавлены еще не все огневые точки противника. Изредка действуют минометные расчеты. Нужно их засечь, уничтожить, а потом переправляться. А для того чтобы вот эти товарищи артиллеристы могли засечь и нанести на карту оставшиеся доты и дзоты противника, нужно сделать так: нагрузить одну лодку чучелами, и пусть выщется смельчак, попытается в этой лодке пересечь реку. Естественно, в лодку станут стрелять, по вспышкам огня мы установим места, которые еще требуется сравнять с землей. Вам понятна задача?

— Вполне, товарищ начштаба.

— Ищите смельчака-охотника.

— За этим дело не станет.

— Пятнадцать минут сроку, товарищ Чеботарев, отсюда мы

будем вести наблюдение за огнем противника. Первая лодка его должна побеспокоить. Ждем!

Вдвоем с Чеботаревым я спустился к заводи, где наготове были плоты и лодки.

— Товарищи,—обратился майор к бойцам,—первая лодка пойдет на тот берег с чучелами. Пробная; требуется установить и засечь оставшиеся огневые средства финнов вблизи от берега. Конечно, первая ласточка подвергнется обстрелу. Но будем надеяться, что оглохшие от наших снарядов и авиабомб финны не смогут стрелять метко. Кто желает первым попасть на тот берег, поднимите руки.

В числе поднявших руки бойцов был и мой связной Сергей Петрович.

— Эх, борода, и ты туда!—пошутил кто-то среди бойцов.— Да куда ты, старый, небось и грести не умеешь.

— Не у тебя ли учиться прикажешь?—огрызнулся связной и из-под каски сердито сверкнул глазами на товарища. Подойдя ко мне, он взмолился:

— Товарищ капитан, договоритесь с майором, будьте сочувственным к старому служаке; дозвоьте мне первому в этом месте пробороздить Свирь. Я уже и мысочек на том берегу облюбовал, где вылезти.

— А не страшно, Петрович?

— Чего страшиться, товарищ капитан, теперь не то время, чтобы страшиться. В начале войны всякому нелегко было умирать. А теперь ясно: победа за победой. И смерть не страшна! Если убьют, подберите и похороните на том берегу. Разрешите, товарищ капитан?

Чеботарев, слышавший этот разговор, подошел и, поцеловав троекратно Сергея Петровича, сказал:

— Ладно! Поезжай счастливо!

Мы проследили, как он сел в лодку, как надевал весла на деревянные уключины и как бойцы усаживали к бортам лодки набитые сеном чучела.

Это было в ночь на двадцать второе июня, в ночь трехлетия Отечественной войны. В зеркальной поверхности Свири отражались холмистые лесные берега. Из заводи на речной простор вынырнула лодка. Широкими взмахами весел Сергей Петрович выровнял ее и устремил к облюбованному мысочку правого берега. Махнув рукой в сторону оставшихся на своем берегу товарищей, он крикнул:—За советскую Родину! За Сталина!—и с удвоенной силой стал нажимать на весла.

— Хорошие у нас люди!—проговорил Чеботарев.—Умеют бесстрашно жертвовать собой. Не только твой борода—и любой

бы из них в батальоне согласился на подвиг. При людях на таком деле разве страшна смерть...

Не успел Сергей Петрович добраться до середины реки, как из-за валежника с того берега затаивали минометы. Мины взрывались по сторонам лодки, поднимая водяные столбы. Однако она продолжала двигаться вперед. Все ближе и ближе был желанный берег. Мины ложились уже позади лодки. Старый солдат неуязвимый сидел в лодке и, не оборачиваясь, работал веслами, насколько хватало сил в его крепких плотничьих руках. Быстрым течением лодку относило в сторону. Сергей Петрович, видимо, примечал это и, чтобы взять точное направление, опускал на время левое весло, работал одним правым. Еще несколько взмахов, и берег достигнут. Он вышел на песчаный мысочек, снял с головы каску, зачерпнул воды, выпил несколько глотков и втащил лодку вместе с чучелами на отлогий берег.

— Молодец! Что ж он будет дальше делать?—обратился подошедший к нам начальник штаба, видя, как Сергей Петрович, оставив лодку, скрылся в прибрежных кустах.

— Он догадается обследовать берег и дождется нас. Я считаю, что сила минометного огня со стороны противника не очень значительна, сделаем рывок, и там!..

— Я тоже так смотрю,—ответил начштаба,—нужно передать соседним батальонам слева и справа, чтобы они немедленно, одновременно с нами форсировали реку...

Между тем, Сергей Петрович,—как он потом мне рассказал,—забрался в финскую траншею и, держа наготове автомат, отправился путешествовать по разрушенным лабиринтам окопов. Десятками валялись там трупы финских солдат: почерневшие, скорчившиеся, лежащие ничком и в растяжку. Сергей Петрович перешагивал через них, осторожно пробираясь дальше; ему хотелось знать, где же, наконец, кто-нибудь живой, оставшийся после наших артиллерийских обстрелов и налетов авиации. Никого живого пока он не увидел. Все вокруг было сметено, перебито. Пройдя от берега метров триста в глубь финской обороны, он оказался перед закрытой дверью дзота. Прислушался. Там кто-то уцелел. Прикладом автомата он постучал в дверь три раза. Тяжелая низкая дверь бесшумно раскрылась перед ним. И, вероятно, ни один из шести живых финнов, ошалевших от частых взрывов тяжелых снарядов, отупевших от порохового смрада, не принял Сергея Петровича за первого русского солдата, проникшего сюда. Тот финн, который открыл дверь и пропустил его в дзот, снова спокойно сел на скамеечку. Другие также сидели, ничего, видимо, не понимая, пришибленные. «Живые мертвецы»,—подумал Сергей Петрович.

— Ну что, завоеватели! До Урала-то далековато не дотянули!—насмешливо сказал Сергей Петрович, наведя автомат на финнов.

— Сдавайтесь!

Казалось, что они только этого и ждали. Покорно подняв руки, оставив оружие в дзоте, один за другим финны вышли из мрачного помещения и, подгоняемые Сергеем Петровичем, подались к берегу реки. Здесь они прикорнули в воронке, а Сергей Петрович, опираясь на автомат, стоял около них, махал каской и восторженно кричал во весь голос:

— Братцы! Путь свободен!.. Вперед!..

Голос его, уверенный и громкий, раскатисто перенесся за реку к своим.

Взвилась зеленая ракета—сигнал к наступлению. В тот же миг враспынную от берега оторвались десятки, сотни лодок, плотов с бойцами, и все это устремилось через реку, туда, где в глубине изуродованного леса притаились готовые бежать дальше лахтари, где на мысочке у лодки стоял бородатый человек с автоматом и радостно приветствовал наступающих.

Учащенный минометный огонь противника не помешал переправиться. Первые группы бойцов стремительно бросились на берег и стали углубляться в лес, расширять плацдарм. Плоты и лодки отвалили обратно за очередными подразделениями.

Кисельников на плоту за три рейса перевез тридцать пять человек, другие тоже не меньше. Ночь прошла без сна, и никто этого не заметил; не чувствовали люди ни утомления, ни усталости.

Саперы быстро возвели понтонный мост. По нему двинулись автомашины с людьми и техникой.

Днем мы опять пошли вперед. Саперам работы было больше всех. Они пробирались впереди вездесущих и всюду проникающих автоматчиков, обеспечивали безопасность движения войск. То там, то тут дощечки, прибитые к деревьям, предупреждали: «Дорога расчищена от мин по двадцать метров в обе стороны. Саперы лейтенанта Садовникова».

Появились первые группы пленных финнов. На ходу, под деревьями, я допрашивал их через переводчика, узнавал о расположении дальнейших укреплений, о намерениях врага, попутно интересовался впечатлениями финских солдат. У себя в записной книжке отмечал:

«Солдат пулеметной роты Сусминен Эйно рассказал следующее:

— Артподготовка русских 21 июня произвела исключительно сильное действие на наше моральное состояние. Один молодой солдат из нашей роты чуть не сошел с ума. Он плакал и рвался

в тыл. Даже командир пулеметного взвода прапорщик Анттила настолько расстроился, что не мог управлять боем.

Финны говорили: «С превосходящими силами драться не будем, надо удирать».

— Когда нам сообщили,—говорил один из пленных,—что русские начали форсировать Свирь, все отделение убежало, а я остался. Затем русские подошли, я поднял руки и крикнул: «Русс, сдаюсь».

Солдаты того же подразделения Хуопонен Унто, Пелконен Ээро и другие сравнивают удары нашей артиллерии с землетрясением, с адом и считают чудом, что они как-то остались в живых. Многие ругают Маннергейма, Рюти и Таннера, обзывая их безумными холопами явно помешанного Гитлера...»

Вечером командир дивизии, генерал-майор, созвал короткое совещание командиров полков и батальонов. Комдив был в приподнятом настроении. Его дивизии была объявлена благодарность в приказе товарища Сталина. Как и многие нынешние участники Свирского прорыва, комдив извещал горечь и досаду отступления сорок первого года и потому сейчас особенно близко принимал к сердцу радость первой крупной победы на Карельском фронте.

Он торжественно зачитал приказ Сталина, затем сел за походный столик, завел беседу:

— Друзья мои,—обратился он душевно и просто к командирам,—первый и решительный шаг нами сделан. Сделан неплохо. Подготовка не пропала даром. Свирь нам открыла пути в глубь финской обороны. И мы будем шагать дальше вперед неудержимо. Мы не позволим финнам держаться на промежуточных укрепленных рубежах. Там, где это необходимо, будем брать в лоб, напрямиком, а там, где возможно,—применим маневр, обход с тыла. Не всегда можно верить картам; а главное, не надо пугаться трудных переходов по болотам, по лесам. Кое-кто из вас помнит, как в сорок первом мы отходили от самой границы до Свири и Ошты. И все же и тогда против нескольких финских полков под Пелелахой три дня и три ночи дрался один наш батальон. С боем финны отбивали у нас каждую пядь земли: от Суоярви до Петрозаводска они двигались два месяца. От Поросозера до Медвежки—два месяца, от Питкяранты до Свири около двух месяцев и так далее. После этого они около трех лет строили запасные рубежи, узлы сопротивления, не жалея ни железа, ни стали, ни бетона. И, несмотря на это, мы будем двигаться максимальными темпами, обходя и преодолевая все и всяческие препятствия. Все, что будет мешать на пути нашего продвижения,—полетит к черту!..

Расспросив командиров, кто из них в какой помощи нуждается, комдив наметил секторы наступления в обход Самбатукского

укрепленного района с выходом на шоссе Лодейное Поле—Олонец.

— Да не забудьте отличившихся представить к награде,— напомнил он.

Сергей Петрович Борода на другой день рядом с медалью «За боевые заслуги» прикрепил на свою грудь орден Красного Знамени.

## 24. ПО ПЯТАМ ФИННОВ

Крупные силы наших войск, богато оснащенные всеми видами вооружения, двигались от Вознесения на Шелтозеро, от Лодейного Поля на Олонец, от Масельской на Медвежьегорск и Кондопогу, угрожая финнам, засевшим в Петрозаводске.

Враг, отступая, яростно сопротивлялся и поспешно уничтожал все, что попадалось под руку. Когда наши части пришли в Медвежьегорск, город нельзя было узнать: торчали одни обгоревшие печи и трубы.

В районе Вознесения, как и в Медвежьегорске и других местах, финны, по методу немецко-фашистских факельщиков, планомерно уничтожали здания, поджигая их горючей смесью.

У одного из поджигателей мы захватили план поджогов Вознесения.

Вот текст этого плана, второюх составленного командиром третьей роты тридцать пятого отдельного саперного батальона финской армии лейтенантом Патанен:

«Разрушение деревянных зданий и уничтожение их производится путем сжигания. Для сжигания применять бутылки с горючей смесью. Расположение зданий указано на карте. Для квартала выделяется по 2 человека и 1 конная повозка. Количество бутылок с горючей смесью и норма уничтожения строений путем сжигания для каждой группы следующая: первая группа уничтожает 46 зданий 50 бутылками, вторая группа уничтожает 47 зданий 60 бутылками, третья группа уничтожает 40 зданий 50 бутылками, четвертая группа уничтожает 40 зданий 60 бутылками, пятая группа уничтожает 61 здание 80 бутылками, шестая сжигает 35 зданий, седьмая группа сжигает здания административно-хозяйственной части, восьмая группа уничтожает здания, расположенные на берегу Свири до деревни Богачево в количестве 56 зданий 70 бутылками, девятая группа уничтожает 69 зданий 85 бутылками, десятая группа—45 зданий 60 бутылками. Всего подлежит сжиганию 539 зданий 685 бутылками с горючей смесью. Для сжигания время 5 часов. Лейтенант М. Патанен».

Однако финские поджигатели не всегда успевали выполнять эти разбойничьи приказы. Наши объятые наступательным порывом воинские части стремительно вырывали у врага населенные пункты...

Соединение, в которое входил батальон майора Чеботарева, совершало тяжелый марш по лесам и болотам. Несколько дней подряд наши бойцы упорно пробирались туда, где финны никак их не ожидали, считая местность проходимой только для лосей и опытных охотников. Мокрые до последней нитки, не раз и не два купавшиеся по горло в грязи, бойцы шли целыми полками. Они несли на себе минометы, пулеметы, тащили мелкокалиберные пушки, и прошли там, где считалось невозможным пробраться. Выходили в тыл на дороги, ведущие к финским оборонительным рубежам, отрезая пути отступления. Двигавшиеся за ними саперные части поспешно строили дороги для прохода танков и тяжелых орудий. В наступательном движении наших войск сказалось наше полное превосходство в моральной и материальной силе...

В одну из минут отдыха, раскинув шинель, я улегся на влажной луговине и, прежде чем вздремнуть от усталости, безмолвно наблюдал за летней природой. Южная Карелия значительно отличается от северной. Здесь и высокие, пахучие, цветистые травы, и малинник, и леса, где лиственные породы мешаются с хвойными, и поля, засеянные рожью и яровой пшеницей.

Я задумался над тем, как я представлял войну до ее начала, как она складывалась в первые дни и месяцы и как идет сейчас. Да, война не бывает схожа с заранее сложившимися о ней представлениями и потому, помимо тренировки и предварительной учебы, командир и боец должны быть готовы быстро в любой обстановке ориентироваться, схватывать ее особенности и изобретать на ходу, чтобы умело бить врага и не быть самому битым.

— О чем размышлялись, товарищ капитан?—вывел меня из раздумья подошедший парторг Огурцов.

— Да так кое о чем. А что такое?

— Я к вам, товарищ капитан, по делу: надо бы нам собрать парторганизацию. Много заявлений поступило с просьбой о приеме в партию.

— От кого?

— От лучших ребят, отличившихся в боях: от Одинцова, который пятерых финнов вчера срезал, от Горелова, от ефрейтора Локтева, парень—лучший подрывник; от сержанта Карпенки и других. Надо рассмотреть их заявления да написать боевые характеристики...

— Это хорошо,—откликнулся я,—но только всю парторганизацию сейчас собирать нельзя. Давайте, созывайте бюро, а собрание потом, когда станет возможным.

Мы еще не успели закончить разбор всех заявлений, как снова последовал приказ—двигаться вперед. И опять на запад, все ближе и ближе к границе Финляндии шли батальоны бойцов. Вот уже наши части обошли с двух сторон древний город Олонек, раскинутый на двух речках: Олонке и Мегре. К приходу Красной Армии кто-то в городе догадался собрать население и распорядился после ухода финнов тщательно подмести улицы.

В Олонке мы не задерживались. Батальон в числе других войск наступал, преследуя финнов на Видлицком шоссе. За один день были освобождены десятки деревень Рыпушкальского и Ильинского сельсоветов.

Карелы и карелки, празднично одетые, выходили на улицы, приветствовали нас, показывали ближние пути и места обходов; помогали саперам восстанавливать разрушенные мосты, задерживали и доставляли предателей.

На пыльной дороге кто-то из бойцов заметил свернутую бумажку под камешком, оказалось—это письмо, оставленное советскими девушками—невольницами финского плена.

*„Дорогие товарищи!*

*Привет от пленных девушек всем бойцам, командирам и летчикам Красной Армии! Освободите нас как можно быстрее от вражеского ига, от ига финнов. Просим вас об этом, дорогие товарищи! Мы находимся в плену уже скоро три года. Больше нет терпения и сил. нас угоняют неизвестно куда. Догоните нас. Спешите родные! Освободите!*

*Русские девушки: Пахомова Серафима,  
Мясникова Лидия, Богданова Клавдия, Крюкова Настя...“*

И еще восемнадцать девичьих подписей.

Парторг Огурцов зачитал вслух письмо девушек и сказал:

— Вот, товарищи. Можем ли мы медлить? Нет! Надо насесть на плечи лахтарей. Мы должны освободить наших девчат, вырвать их из цепких лап противника.

...Ночью по восстановленным мостам на шоссе вышли десятки наших танков. Со скрежетом и грохотом они пронеслись вперед, обгоняя наступающую пехоту. В одной из деревень танкисты захватили в плен большую группу финнов. Там же они перехватили партию советских людей, угоняемых в Финляндию, и освободили их. Люди эти около трех лет томились в лагерях за колючей проволокой, были оборваны, истощены, но не потеряли веры в свое освобождение. Они бежали навстречу бойцам, обнимали, целовали их, плакали от радости.

— Наконец-то вы пришли, наши родные! Конечно наше мученье!

Несколько девушек запели гимн Советского Союза. К их звонким голосам присоединились голоса танкистов.

— Откуда вы сумели узнать и заучить наш новый гимн?— спросили бойцы девчат.

— От одного пленного красноармейца. Его потом финны расстреляли.

Потные, пыльные, уставшие от дальних переходов пришли пехотинцы генерал-майора Грозова, а с ними и наш батальон. И опять радостная встреча победителей с освобожденным народом.

— А нет ли среди вас Пахомовой Симы?

— Есть!—откликнулась одна из девушек с бледным лицом.

— А нет ли Мясниковой Лиды?

— Я, я, Мясникова,—выбежала из толпы девушка лет восемнадцати в старой гимнастерке и полосатых мужских брюках.

— Мы нашли ваше письмо, оставленное на дороге, и всюду в деревнях спрашивали о вас. Хотели мы вас освободить, да танкисты обогнали, а письмо-то—вот оно! Сохраним как память...

— Это у нас Настя Крюкова догадалась написать. Она и под камень подсунула, хоть без адреса, а попало в те руки, какие надо. Спасибо вам, спасибо...

Два—три часа отдыха, и дальше.

Перед рассветом в сопровождении бронемашин за танками проехал генерал-майор Грозов. Здешние места были ему знакомы. Три года тому назад с остатками разрозненной дивизии он выходил, или вернее, пробивался здесь через кольцо вражеского окружения.

Тогда у генерала было немного бойцов и не то вооружение, что теперь. Но он пробился, не оставил финнам и немцам ни одного раненого бойца, всех вывел и вынес на руках. Раненые воины, неспособные держать оружие и владеть им, во время прорыва в ночное время, по приказанию Грозова, громко кричали «ура», чтобы нагнать страху на врага. А шедшие впереди штыками и гранатами прорывались в лесные просторы, прочищали путь к своим, и все вместе выходили на новые рубежи строившейся обороны...

Генерал велел шоферу остановить машину. Вместе с адъютантом и офицером связи он свернул с шоссе. Небольшой земляной холмик порос густой высокой травой. Генерал, склонившись, нащупал в траве три камня. Он снял фуражку. Его примеру последовали оба офицера. Генерал сказал:

— Вот на этом самом месте в июле сорок первого мы похоронили двадцать семь товарищей, погибших в бою. Вечная им память и слава!.. Хорошие были ребята, жаль, не дожили до победных дней...

Утреннее солнце, огненно-красное, глянуло сквозь ветви кустарника. На листья ивняка заискрилась роса. Вдалеке впереди громыхали гусеницами танки, гудели моторы машин. В пешем строю шли по шоссе и по обочинам пехотные полки. За тягачами тянулись дальнобойные пушки; на длинных стволах орудий, свесив ноги в обмотках и ботинках, сидели запыленные до самых глаз бойцы-артиллеристы.

Генерал повернулся к шоссе. В это время шеренгами по три в ряд подошел сюда батальон Чеботарева. Не дожидаясь, пока комбат поравняется с ним, Грозов сам подал команду:

— Батальон, слушай мою команду: за мной, шагом марш!..— И подвевая бойцов к братской могиле, построил их полукругом:

— Смирно! Шапки долой!.. Товарищи! Здесь одна из могил наших братьев, павших в боях в сорок первом году в тяжелые дни отступления. Почтим их память трехминутным молчанием.

Бойцы и командиры, склонив головы, безмолвно стояли у незабываемого этого холмика возле шоссе, ведущего с Олонца на Видлицу...

И снова шли полки вперед на запад, к финской границе, не давая финнам опомниться и задержаться на нашей истомившейся под их игом земле.

## 25. ПОСЛЕДНИЕ ВСТРЕЧИ С ЕФИМЫЧЕМ

Мой бывший связной Ефимыч несказанно обрадовался, когда их часть перебросили в наступление на другой участок фронта. Ефимыч с боями прошел по следам отступавших финнов по улицам сожженного Медвежьегорска, через Кондопогу на Петрозаводск.

В финском концлагере № 5 я случайно встретился с ним и здесь же познакомился и разговорился с бывшим заключенным Иваном Лебедевым. Исхудалый, измученный, выглядевший старше своего возраста лет на двадцать, Лебедев рассказал об их страшной лагерной жизни:

— Всякое было,—говорил он со слезами на глазах,—издевались над нашим братом; хуже скотины считали они русского человека. Живьем иных в землю закапывали. К примеру скажу: повели нас на лесные работы в Кутижму. То один, то другой упадет. Итти не можем, от истощения ноги опухли. Упавших поднимаем, подпираем, не даем падать. А финский палач лейтенант Мйямпйя говорит: «Живой тот, кто работает, а кто с палкой стоять не может—значит мертвый. Таких в землю». Ромашева у нас живьем похоронили. Попробуй, скажи слово супротив—пуля в лоб...

— А вы не слыхали в лагерях Парасковьи Родиновой? Мне жена будет, не попала к вам случайно?—спрашивал Ефимыч.

— Нет, не слыхал. Всех разве упомянул. Вот когда я был в лагере № 33, нас привезли в лес на работы пятьсот семьдесят человек, а с работы вернулось в лагерь только сто семьдесят. Остальные вымерли от истощения, а то и живьем есть закопаны... Тут разве всех упомянешь... Худо жили, ой, как худо. Доводили финские бесы до того, что мы и собак ели, крыс ели, старую кожу парили, варили, получалось что-то липкое, и тоже ели. Если бы не надежда на освобождение, то лучше скорая смерть, чем такая жизнь... Били нас каждый день, ой, как били. Ни женщин, ни детей не щадили. В третьем лагере был финский палач Ламбер Вейка. Он бывало сядет заключенному на голову, а на голое тело кладет мокрую, насквозь просоленную тряпку, и через эту тряпку бьет во всю силу плеткой. Тут даже самый терпеливый взвояет. А палач Вейка после порки хвастает: «Это мой способ, специально для русских». Женщину тут одну—Надежду Андрееву на глазах ее детей расстреляли финны, а и вины ее только было, что она хотела детям на кормежку отбросов пособирать...

— А вы Петрозаводск видели, товарищ капитан, после финского хозяйничания?—спросил меня Ефимыч.

— Нет еще...

— При случае посмотрите, что они там понаделали...

Оказывается, Ефимыч, пока их часть стояла в районе Петрозаводска, с разрешения командира роты на день отлучился в город; он в добрые времена много раз бывал в столице Карелии. И ему сразу бросились в глаза разрушения, произведенные финнами. Еще наступая на Петрозаводск, он видел пламя пожаров, охвативших кварталы города, а теперь воочию убедился, чего недостает, что уничтожено в городе, основанном Петром Первым: сгорел лесозавод, сгорели склады, поселки рабочих, биржа сплава, причалы и пристань. На месте гостиного двора и гостиницы—обломки кирпича. Пригодный кирпич финны вывезли в Финляндию. Театр и дом культуры сожжены; почта, телеграф, типография взорваны, две электростанции уничтожены. Памятник Ленину из карельского гранита—уничтожен. Бронзовый памятник Кирову увезен в Финляндию. Домик поэта Державина—сожжен. Одна из лучших улиц—улица Пушкина изуродована до неузнаваемости и переименована. Мосты в городе взорваны, университет разрушен; исчезли целые кварталы домов, уничтожены мастерские авторемонтного завода и множество других построек, знакомых Ефимычу.

При виде всего этого у него сжималось сердце, росла ненависть к врагу.

Не имея вестей от единственного сына, ничего не зная о судь-

бе своей жены и видя перед собой то в Кондопоге, то в Петро- заводские страшные разрушения, произведенные финнами, Ефимыч чувствовал в душе прилив неудержимой ярости; во всех наступательных боях, не щадя себя, он вырывался вперед и строил короткими очередями из автомата по отступающему врагу.

— В ту германскую немцев бил, в гражданскую белогвардейцев бил, а так отчаянно, как теперь, еще никогда не воевал. Вот что значит жажда мести!—говорил мне Ефимыч при этой встрече.

Надо сказать, что Ефимыч очень понравился Сергею Петровичу, который, будучи, очевидно, и о себе неплохого мнения, сказал мне однажды:

— Ну, товарищ капитан, вы умеете выбирать себе связных...

Вскоре где-то далеко за Видлищей, километров добрых двести за Петрозаводск, на подступах к финской границе Ефимыча осколком мины вывело из строя. Его и других раненых бойцов санитары уносили на носилках в укромные места для оказания первой помощи. Слышались душу надрывающие стоны, умоляющие просьбы.

И вдруг на стыке двух лесных тропинок под густыми ветвями берез навстречу раненым показались идущие цепочкой один за другим наши бойцы. Согнувшись под тяжестью боевого снаряжения, потные и усталые, они пробирались вперед на смену павшим, на смену тем же раненым, которых десятками несли санитары. И, вероятно (чего греха таить), в эти минуты кое у кого могла явиться мысль о том, что они через некоторое время так же могут быть ранены, а то и убиты.

Майор Чеботарев оглянулся на шедших за ним бойцов и, видимо, угадал их мысли.

— Посторонись! Два шага вправо,—скомандовал он, пропуская санитаров и раненых, затем повышенным голосом произнес:

— Честь и слава дорогим товарищам, пролившим кровь за свободу и независимость нашей Родины!.. Батальон, смирррно!..

И это слово, во-время сказанное, и команда, поданная своим бойцам, воодушевили людей. Раненые, перестав стонать, приподнимали головы. Один из раненых громко сказал:

— Ничего, ребята, малость мы пострадали, но и финнам не много дышать осталось... А мы еще поправимся и протопаем по улицам Берлина!..

— Счастливо вам добывать лахтарей,—говорили они встречным бойцам. А те, став по команде смирно, приветствовали раненых товарищей.

Позади всех, на самых последних носилках лежал окровавленный Ефимыч. Конечно, мы сразу узнали друг друга.

Я быстро шагнул в его сторону. Носилки качались в руках двух дюжих санитаров. Бледный от потери крови, не имея сил сказать громче, Ефимыч прошептал:

— А вы тут, товарищ капитан?...

— С вами, Ефимыч, с вами.

Чуть заметная улыбка появилась на его лице. Несколько шагов прошел я рядом с носилками, осведомляясь на ходу, тяжело ли он ранен и куда он будет эвакуирован на лечение.

— Рана тяжелая,—за Ефимыча ответил рослый санитар,— перебило два или три ребра. Вероятно, подлечат здесь и направят в тыл, в стационарный госпиталь...

— Ну, прощай, друг, приятно выздоравливать. После войны напиши в мой домашний архангельский адрес, как-никак порядочное время прожили вместе, неплохо бы когда-нибудь встретиться,—проговорил я, слегка пожимая ослабшую руку Ефимыча.

— Едва ли, капитан,—неуверенно прошептал он,—если не смерть, то время, пожалуй, навсегда разлучит нас... Желаю вам счастья, товарищ капитан...

Так мы встретились и расстались в лесу на случайном перепутье.

— Вольно! Шагом марш!..—скомандовал Чеботарев, и батальон тронулся в путь...

## 26. В ЗАПОЛЯРЬЕ!..

Еще много дней и ночей провели мы в лесах Карелии.

В сентябрьский день, когда батальон широким развернутым строем осторожно продвигался вдоль государственной границы, ко мне подбежал радист. По его лицу, взволнованному и вместе с тем веселому, я понял, что у него есть какое-то важное сообщение.

— Ну, что? Чему улыбаешься, что за новости?

— Есть новости, товарищ капитан. Финляндия выскочила из войны. Приняла все наши мирные условия. Остается теперь вышибать немцев из Заполярья, а с финнами покончено. За весь ущерб они должны расплатиться с нами и вернуть на свое место все награбленное. Там еще много кое-чего передавали, всего не упомяну, потом из газет узнаем...

— Приятную весть радостно и слышать. Замечательно! Передайте парторгу Огурцову, пусть оповестит об этом всех бойцов,— и увидев перед собой повеселевшего связного, я обратился к тому:

— Смотри-ка, Сергей Петрович, наломали финнам бока. Умней и сговорчивей стали. Скоро на немцев пойдем, а там, глядишь, и войне конец подоспеет.

— Да уж и пора, товарищ капитан, чего еще, на четвертый год загнули. Скоро и Гитлеру петля.

— Он своего не минует.

— Да, но кровушки еще будет пролито немало.

Парторг Огурцов, низкорослый крепыш на коротких, но упористых ногах, прыгая по кочкам и цепляясь руками за стволы сосен, запыхавшись бежал к комбату.

— Товарищ майор, может, митинг соберем по такому поводу?

— Нет,—ответил тот,—распорядитесь, пусть коммунисты проведут беседы во взводах да сосредоточат внимание не только на том, что мы выбили Финляндию из войны, а и на том, что бдительность и после боев остается бдительностью.

Еще два—три дня батальон «чесал» пограничную полосу, недавно бывшую глубоким тылом финских войск. Потом пришли пограничные части. Снова, через три с лишним года, в здешних местах замелькали зеленые фуражки пограничников.

Подтянутый, весь в ремнях майор, начальник только что пришедшей заставы, вручил Чеботареву пакет.

— То, что не доделано вами, теперь доделаем мы,—сказал майор, заранее зная содержание предписания.

Нашу часть отозвали обратно в дивизию. А дивизия в числе многих других соединений снималась с фронта едва успевших затихнуть боев.

В короткий срок ближайшим путем вышел батальон на шоссе. Если бы кто-либо пролетел на самолете над большой военной дорогой от границы до Олонца, от Олонца до Лодейного Поля, или же хотя бы проехал это расстояние в автомашине, его глазам представилось бы величественное зрелище: по всей этой дороге, поднимая облако пыли, бесконечной чередой, живым потоком двигалось наше войско. Гремели танки, тягачи, самоходные пушки; с песнями шли и ехали на грузовиках выдавшие виды пехотинцы. За тракторами и многопарными упряжками солидно катились длинноствольные дальнобойные большой мощности орудия; вне очереди в обгонку спешили закутанные в брезент «катушки». Передвижные госпитали, понтонные саперные части, зенитчики и хозяйственные команды—все безостановочно двигалось к Лодейному Полю грузиться на поезда, а там—куда будет приказано.

Выйдя на шоссе, наш батальон примкнул в хвост третьего полка своей дивизии. За последние семьдесят пять дней немало сотен километров прошли мы по болотам, лесам и равнинам, полям и лугам южной Карелии; немало преодолели рек вплавь и вброд; извлекли и обезвредили тысячи мин. И ни у кого—ни признака усталости. Все бодры, веселы, неутомимы. Я сказал об этом Сергею Петровичу.

— Победу люди видят,—сказал он,—немец-то начал с побед, а докатился до бед.

И добавил рассудительно:

— Много нам, товарищ капитан, помогла в этой войне сталинская премудрость. Пусть он живет и живет многие лета.

— Да, Петрович. Все народы всех стран в будущие долгие века станут помнить и благодарить наш народ, нашего Сталина. А фашистской заразе приближается конец... Смотри, какая сила, освободившись здесь, двинется на Берлин!..

В это время комбат Чеботарев подошел к нам. Остановившись, он пропустил мимо себя шагавшие роты бойцов, подбодрил:

— Шагайте, ребята, шагайте. Олонец уже виден, а там устроим привал на целых два часа.

И снова мерный топот тысяч ног. Пыль, поднимаемая людским потоком, потоком военной техники, клубится, покрывает траву и кусты за обочинами и канавами дороги, пристает к мокрым от пота загоревшим солдатским лицам, лезет в ноздри, в уши, красит в пепельный цвет брови и ресницы; лишь глаза у всех светятся радостью и бодростью, блестят, не затронутые везде проникающей пылью.

Но вот и желанный привал. Там, где две речки—Мегра и Олонка—слились в одно широкое русло, устремляясь к Ладожскому озеру, бойцы и командиры остановились на отдых. Одни, закусив на привале, сразу разулись и уснули на сухой луговине крепким сном. Другие, раздевшись догола, просушивали промокшее от пота белье и верхнее обмундирование, бросались в заманчивые, живительные речные струи и с шумом и криком барахтались в воде. Река соблазнила и меня. Я разделся. Легкий ветерок опанул потное тело. Крупными шагами по песчаному дну реки забрел я на глубокое место. Плескаясь, поплыл на середину; нырнул и снова всплыл на поверхность. Солнце отражалось в реке, ослепительно искрилось ломаными лучами.

Я выкупался и, сменив белье, оделся. Спать уже не хотелось. Оставив бойцов на отдыхе, я неспеша пошел вдоль шоссе. Сотни и тысячи людей лежали и сидели в различных позах. У многих виднелись на груди ордена и медали, у многих желтые и красные ленточки свидетельствовали о пролитой крови, о полученных в бою ранениях.

Я всматривался в загорелые лица, но знакомых никого не было, и в то же время мне казалось, что в каждом бойце есть что-то неуловимо знакомое, близкое, родное; многих хотелось спросить: «А не встречались ли мы с вами на Ухтинском или Кестенгском направлениях?»

Неспеша дошел я до окраины Олонца. В тени между домами стояли распряженные повозки. Сонные лошади уныло жевали. За деревянной обезглавленной церковью, на площадке, в разноцветных нарядах толпились олончанки, голубоглазые и сероглазые карелки. У многих на ногах я заметил матерчатые или парусиновые с деревянными подошвами туфли—остатки финской «рокоши».

Девчата весело шумели. В центре фронтовые артисты под звуки бойкой гармоники плясали и пели:

Лежат финны вдоль дорожки,  
Лежат вытянувши ножки,  
Как лягушечки,  
Да, как лягушечки.  
Из них вытряхнули души  
Наши славные «катуши»,  
Наши пушечки,  
Да наши пушечки...

Я протолкался среди танцующих, поговорил со стариками. И вот опять раздался сигнал, головные части нашей дивизии поднялись, тронулись...





## Вторая часть

### 27. ОТ ЛОДЕЙНОГО ДО ПЕЧЕНГИ

В начале сентября 1944 года на фронте с Финляндией все кончено. Наши военные и хозяйственные представители, как слышно, уже едут в Финляндию, а мы, с фронта, из-за древнего Олонца, по пыльному шоссе двигаемся бесконечной вереницей к Лодейному Полю на Свирь, к станции железной дороги для дальнейшего следования. Мы предполагаем и догадываемся, куда нас должно командование направить. Нашему брату—солдату—еще рано умыть руки. Предстоит кое-какая работа там, на Севере, в Заполярье.

В соглашении о перемирии говорится: «Финляндия возвращает Советскому Союзу область Петсамо. (Печенга), добровольно уступленную Финляндии Советским государством по мирным договорам от 14 октября 1920 года и от 12 марта 1940 года...»

По доброй воле гитлеровцы не оставляют занятых областей и городов, их надо вышибать.

Наш батальон возвращается с финского фронта. У бойцов прекрасное настроение. На всем пути от финской границы до Лодейного Поля слышатся несмолкаемые песни, настроение победителей не может быть иным.

По обеим сторонам шоссе воронки от мин и снарядов, ржавые осколки и опаленная «катюшами» трава; низкорослые сосны порыжели от боевого огня. Множество мин, выкорчеванных нашими саперами, лежит кучами то там, то тут. На переправах взорванные и сожженные старые мосты, по соседству воздвигнуты новые временные наплавные.

Быстро по плотному понтонному мосту переправляемся через Свирь. Вот оно—Лодейное Поле! Старинный, имеющий свою ис-

торию, сильно разрушенный финнами русский город. Сегодня город похож на громадный бивуак: прибывающие с фронта части располагаются на площадях, пустырях, вокруг разрушенных кварталов и по сторонам полотна железной дороги. Тысячи бойцов сидят, лежат, отдыхают; другие—бродят вокруг да около в ожидании отправки.

До погрузки и отправки выдалось свободное время. День для начала осени вполне хороший; солнце успевает обогреть землю, прощается с летом. Чуть-чуть становится прохладней, но на юге Карелии нет пока надобности надевать шинель.

С группой офицеров из политотдела армии иду осматривать город, вернее, его руины. Сплошь выжженные улицы. Из поросших бурьяном пепелищ торчат груды кирпича, железа и всякого лома. Железобетонная водонапорная башня изрешечена снарядами: ржавые прутья и балки торчат, как кости скелета. Город около трех лет подряд был передним краем нашей обороны.

Быстротечная Свирь—как будто и не было войны—переливается, искрясь на солнце, бесконечно стремится переполнить через края Ладожское озеро, но ей это не удается. Там, дальше, энергичная Нева подхватывает излишки многоводной Ладоги и переносит в Балтику.

Здесь, на берегу Свири, в обросшей лесами деревушке Мокрошвице испокон веков жили мастера ладейщики, строили ладьи и шнеки, пускались в плаванья по озерам Ладоге и Онеге.

В 1702 году проездом из Архангельска здесь останавливался Петр Первый. Он повелел строить корабельную верфь. В скором времени из Лодейного Поля стали выходить на Балтику первые русские военные фрегаты.

Вокруг корабельной верфи выросал город, строился собор и дворец для «полудержавного властелина» князя Меншикова.

С появлением и быстрым ростом Петербурга Лодейному Полю не суждено было стать в ряд крупных городов российских. Но все же до разрушения это был красивый, веселый городок, полукаменный, полудеревянный, разноцветный, утопавший в зелени садов и палисадов. Свирь и лесистое Заполье придавали городу вид особенно привлекательный.

Ночью быстро грузимся в товарные вагоны и покидаем Лодейное Поле. Моросит дождь, тихонько барабанит по железной крыше вагона.

Кто-то из братвы нашей—кому не спится,—распахнув шинель, стоит в дверях вагона и мурлычет, импровизируя:

Не осенний мелкий дождичек,  
Брызжет, брызжет сквозь туман,  
Едем, едем, добры молодцы,  
Из Лодейного в Мурман...

В пути узнали, что генерал армии Мерецков одобрил инициативу Политуправления о создании в Лодейном Поле музея-памятника Свирской Победы. Будем живы—побываем, посмотрим, а пока, досвидания, Свирь, всего тебе хорошего, пострадавшее от войны Лодейное Поле.

\* \*

Едем для начала быстро. Задержки на станциях незначительны. В южной части Карелии появилось очень много грибов, так много, что на остановках в пять-десять минут в сплошных придорожных лесах нетрудно собрать на жаркое. С удовольствием и охотой этим «подножным» кормом разнообразим свое меню.

Ночью проехали спокойно отдыхающий Петрозаводск. Над городом, в сером полумраке, тишина; в центре города белеют уцелевшие каменные постройки и кое-где зияют черными пропастями пепелища давно остывших пожарищ. Но в Петрозаводске, хранящем память и о Петре Первом и о старике Державине, благословившем Пушкина, не так еще сильно заметны тяжелые следы войны, как они очевидны всем и каждому в Медвежьегорске. Этот небольшой город, расположенный между каменистых гор, поросших лесом, в заводях Онежского озера, на какой-то срок выведен войной из строя городов. От деревянного Медвежьегорска остались почти одни столбы кирпичных фундаментов; да еще печи с трубами, словно памятники, возвышаются над холмиками погибших в огне, когда-то уютных и удобных жилищ.

Сюда на восстановление города начинают прибывать из эвакуации первые жители; они пока ютятся в шалашах около своего самого необходимого скарба.

Поезд следует дальше на север.

Проезжаем изрытую окопами, разбитую снарядами и авиабомбами Массельгу. На утро мы в Сегеже. Это одна из близких к фронту станций не была под пятой финнов; виднеются огромные корпуса сегежского бумкомбината. Дымят фабричные трубы. Несмотря на близость фронта, комбинат был так обеспечен противоздушной обороной, что не прекращал своей работы. Армейские газеты Карельского фронта печатались на бумаге сегежского комбината.

Станция Кочкома. Отсюда, с Кировской магистрали, тянутся железнодорожная ветка и рядом—шоссе на Ребольское направленные затихшего теперь бывшего фронта.

Спрашиваем на станции:

— Как идут здесь дела?

Нам отвечают:

— Войска снимаются. Пограничники восстанавливают старые границы.

Станция Сорока—на сорока островах, вся в шумных проливах и водопадах. С высоких горбатых мостов видно, как стелется без конца, без края Белое море. Маленькие домики беспорядочно толпятся на буграх, спускаются в низины, некоторые углами и задворьями, крылечками и пристройками опираясь о каменные глыбы, сползают до самой пенящейся воды. Если бы не такие хибары, а приличные дома тут стояли,—Венеция и только!

С некоторых пор этот поселок стал носить громкое название—Беломорск.

За Беломорской Сорокой, в двух часах езды,—Кемь. Здесь останавливаемся. Вдвоем с приятелем, майором из политотдела армии, бродим по деревянным мосткам города. Быть может в последний раз, запечатлеваем его особенности. Не слишком населенный, но слишком разбросанный город Кемь не производит на первый взгляд сильного впечатления; но если внимательно присмотреться, то найдется здесь немало интересного и по-своему прелестного. Местность: кражи скал, они отгораживают город от беломорских ветров; река—шумная порожистая Кемь—проходит как-то за окраиной и только непрерывным шумом водопада напоминает о своем существовании. В стороне высится над рекой узорчато сплетенный железнодорожный мост. Не раз пытались фашисты бомбить его; мост попрежнему висит над бурлящей карельской рекой, пропуская ежедневно десятки эшелонов на Мурманск и обратно. Мост цел, а немцы за один последний налет потеряли одиннадцать самолетов и на этом успокоились...

Меня привлекает древний Кемский собор Успенья, деревянный, многошатровый, редчайший памятник северного русского зодчества. Собор построен двести тридцать лет назад. Кондовый лес начинает дряхлеть, но гнилью древесной еще не пахнет. Собор петровских времен горделиво возвышается на холме и с моря, сказывают, виден от самых Соловков. Центральное шатровое перекрытие над главным корпусом стоит ровно, не покосившись. Но боковые приделы, крыша над папертью, углы, лестницы, косяки в дверях и окнах,—все это нуждается в немедленном ремонте. Дальше в таком состоянии хранить собор невозможно. А сохранить нужно. Реликвия стоящая!

Кемь считается городом. И хотя больше похожа на большую беспорядочную деревню, имеет пригородные поселки: Ташатурку, Бабгубу, Новую деревню, Рабочеостровск и другие. С рабочеостровского берега видны Соловецкие острова. Там—монастырь, бывший хозяин Поморья. Там дольше всех держались и боролись смертным боем с царскими войсками ревнители древнего благочестия—староверы.

Побежденные в Соловках и в Поморье раскольники, отступая от гонителей-никонианцев, уходили в Олонецкие дебри спасаться от мирских сует, от новых религиозных догматов, противных их взглядам. Были среди староверов упрямые и волевые поморы, подстать самому протопопу Аввакуму, сожженному в Пустозерске.

\* \*  
\* \*  
\* \*

Мы не особенно интересуемся местностью и населенными пунктами. Время военное—не до экскурсионных впечатлений. Однако область Петсамо нас привлекает со всех сторон, как территория, с древних времен принадлежавшая нам, русским, как область, из-за которой велась борьба в разное время и в различных формах...

Проезжаем станцию Лоухи; здесь слышим, что с Кестенгского направления немцы выброшены в глубь Финляндии.

Проезжаем Кандалакшу с ее живописным пейзажем—заливом и высокими лесистыми сопками, напоминающими южный берег Крыма. Здесь бурлит, кипит река Нива, питающая электричеством не только Кандалакшу, но и всю железную дорогу до Мурманска протяженностью в 277 километров. Мы находимся за полярным кругом. Слева—каменистые плоскогорья, справа—порожистая шумная Нива уползает в сопки, закрывающие вид на Кандалакшский залив. Здесь климат не тот, что на юге Карелии: тяжеловесные, мрачные облака низко и грузно давят на одетую камнем землю. Дует сырой, пронизывающий ветер...

Бойкий электровоз доставляет нас в Колу—в древнейший городок рядом с Мурманском. В истории это поселение известно еще до существования Архангельска. Когда англичане овладели торгом на Северной Двине, голландцы, конкурируя с ними, проникли в Колу и бойко повели торг с русскими поморами, карелами и саами (лопарями). Возникновение Архангельска и последующие административно-правительственные меры не позволили расцвести Коле.

Так, в 1585 году кольский воевода объявил голландским и других стран купцам, что «государь Федор Иванович в своей государевой вотчине в Коле-волости торговать велел треской и палтусом, и салом трескиным и китовым, а за иным товаром ездить на Двину, где государем построен новый город».

Иноземцы подстрекнули воеводу:

— Нельзя ли уговорить царя?

На повторные запросы царь ответил:

«В Коле торгу быть непригоже, то место убогое».

Об этом отдаленном городке много в народе возникло поговорок, определяющих характер местности и населения Колы:

«От Холмогор до Колы—тридцать три Николы». (Очевидно за единицу измерения бралось расстояние от Холмогор до Николо-Корельского монастыря и умножалось на тридцать три).

«Кольское страшилище». «Город-то крюк, а народ-уда, что ни слово, то и зазубра».

«Кольская губа, что тюрьма: есть вход, да нет выхода».

«От Колы до ада всего три версты».

«В Коле мужика убить, что кринку молока испить».

«С одной стороны море, с другой—горе, с третьей—мох, а с четвертой—ох! Что это такое?» (отгадка—Кола).

Первые летописные свидетельства о существовании Колы имеют шестисотлетнюю давность.

В 1533 году здесь уже было большое селение с двумя церквями. В те времена Кола была самым отдаленным и «надежным» местом ссылки для крамольных и неугодивших царю людей.

Город подвергался нападениям со стороны шведов. Поэтому царь Алексей Михайлович посылал сюда сотню стрельцов для защиты и обороны дальнего отечественного порта.

Петр Первый в 1704 году повелел выстроить в Коле крепость, послал сюда пятьдесят три пушки. Тогда Кола стала уездом Архангельской губернии. Приходилось Коле неоднократно переживать бедствия от нашествия англичан.

В 1809 году город сдался на милость «победителей», которые немного пограбили местное население и ушли в море. Тогда англичанам превосходно отомстил за их налет на Колу местный житель, прогремевший на всю Россию,—некто Герасимов. Будучи захвачен в плен, он сидел на палубе английского корабля и с грустью смотрел на разгульных матросов. Потом, когда они все перепились и спустились в трюм, Герасимов схватил кормщика и бросил его за борт. Остальных врагов он закрыл люком и сам встав у руля, доставил их как пленников коменданту норвежской крепости Вардегуз. Александр I за геройский поступок наградил Герасимова Георгиевским крестом.

Путешествовавший по Северу в 1856 году известный писатель-этнограф С. В. Максимов видел своими глазами уцелевшие от всей Колы шесть-семь домов, остальные, в том числе и две старинных церкви, были сожжены англичанами при нападении на город в 1854 году, в ночь с одиннадцатого на двенадцатое августа. Тогда неприятель пытался высадить десант, но кольские жители, обозленные разорением их родного города, вооружились, что чем мог, и не позволили врагу вступить на берег.

В 1918—20 годах интервенты хозяйничали здесь, как дома.

В Отечественную войну Кола представляла собою ближний тыл нашей армии, действовавшей в Заполярье.

Отсюда, не заезжая в пострадавший от бомбежек Мурманск, можно пробраться на фронт, и вместе с войсками, изгоняющими из советского Заполярья немцев, продолжить неделгий поход до Печенги, а то и дальше в Норвегу, в страну честных и упорных тружеников, давно известную нашим поморам.

Нас интересует историческое прошлое здешних мест. Русским людям, когда-то заселившим эти места, и во сне не снилось, что здесь через несколько столетий чудовищные танки и самоходные пушки будут бороздить окаменевшие сопки, а воздух будет оглашать шум пропеллеров и что в фиордах, вблизи берегов самого края света, будут прятаться и подстерегать свою добычу плавающие под водой корабли...

\* \* \*

С первых дней войны гитлеровцы пытались прорваться к Мурманску и закрыть от нас этот ход, ведущий к союзникам. Но это им не удалось. Тогда они надолго засели против нас в области Петсамо, на севере Финляндии и Норвегии, и отсюда совершали воздушные налеты на Мурманск.

Прорвав прочную оборону немцев на крайнем Севере, наши хорошо подготовленные к наступлению войска, преодолевая невиданные препятствия, пошли в наступление и 15 октября, при содействии кораблей и десантных частей Северного флота, овладели городом Петсамо. Это военное событие было отмечено приказом Верховного Главнокомандующего товарища Сталина...

\* \* \*

Географическое положение Печенги с незамерзающим портом, расположенным на стыке трех государств, всегда имело большое экономическое значение. К этому еще следует добавить богатые залежи никелевой руды, разработка которой—дело весьма большой необходимости в хозяйстве страны.

Возвращение нашей Родине области Печенги в ее бывших границах с Финляндией и Норвегией обеспечивает безопасность подступов к северо-западным границам со стороны Баренцова моря.

И вот снова мы, русские люди, на своей искони вечной земле в районе Печенги.

Мы видим «тихую обитель» Печенгского монастыря, когда-то являющегося своеобразным, довольно скромным форпостом старой России на дальнем северо-западе.

Всякий из нас, зная историю Печенги, может не без гордости сказать: «Мы вышибли немцев из далекого Заполярья с нашей земли, мы возвратили нашей родине край обильных промыслов»...

Наши войска проходили здесь, как полновластные хозяева по

своей законной земле. Здесь они видели горячие следы немецких зверств. В специальном фашистском лагере, в котором уничтожались советские военнопленные, были обнаружены трупы сожженных советских людей. В брошенной рукавице нашли письмо, нацарапанное гвоздем на куске бересты:

«Пишем вам из могилы. В этом Лапланде все равно, что в могиле для живых людей. В воскресенье нас пригнали 23, осталось 2. Прощайте, братцы, умираем за правду».

Эти прощальные слова русских военнопленных Андрея Жука и Василия Федорова еще больше усилили гнев и ярость наших наступавших бойцов.

В районе никелевых рудников, около сожженных и взорванных отступившими немцами заводских корпусов, те же вопиющие и взывающие к беспощадной мести следы жутких немецких зверств.

Печенга, обильно политая кровью невинно замученных русских людей, возвращается нам не дешевой ценой.

Прежде чем добраться до никелевых разработок, пришлось нашим войскам путь продвижения устилать трупами немцев. Разумеется, не обошлось и без наших потерь. Война есть война,— жертвы неизбежны. Но зверства не должно быть. А тут опять такая картина: возле развалин завода трупы зверски замученных советских людей. Среди них был опознан заживо сожженный лейтенант Яковенко. Других опознать было невозможно— они были изрезаны ножами до неузнаваемости.

Когда наши войска вышвырнули немцев из Печенги и, перешагнув норвежскую границу, стали очищать север Норвегии от немцев, мы увидели, какую ненависть к немцам и любовь к нам, русским, хранили в своих сердцах эти нейтральные труженики севера—норвежцы. После отгремевших и последовавших дальше в глубь Норвегии боев они выходили из туннелей-убежищ и радостно приветствовали Красную Армию-освободительницу.

Нельзя умолчать о таком факте.

За несколько дней до прихода наших войск на норвежскую землю, в воздушном бою, мы считали, погиб участник многих боев капитан Качегин Павел—сибиряк. Его самолет, мы знали, был сбит немцами над норвежской территорией. И вдруг в одном из селений, окруженный норвежцами Качегин прихрамывающей походкой идет навстречу, озаренный радостной улыбкой.

Мы узнали от него, и это подтвердили в письменной форме норвежцы, как наш капитан Качегин сбил в воздушном бою немецкий самолет, затем сам на своей подбитой машине сделал вынужденную посадку, разбив при этом себе ногу. Качегин нашел в себе силы скрыться от преследовавших его немцев и одного даже убил выстрелом из пистолета. Норвежцы, видевшие посадку по-

врежденного советского самолета, побежали к месту происшествия и Качегина выручили. Они его спрятали от немцев в надежное место, переодели, заботливо лечили и кормили его, как лучшего гостя и друга...

— С таким народом можно жить мирно и дружно,—говорили наши бойцы, видя на каждом шагу приветливое, миролюбивое отношение норвежцев.

## 28. В ПУТИ НА ВОСТОК

(из дневника)

1 июня 1945 г. Погрузились в товарные вагоны. Вся часть поместилась со всем имуществом в один эшелон. В нашем вагоне двадцать пять офицеров. Впереди—сосед-вагон военторга, позади—вагон с группой артистов, соседство не плохое.

Война пока кончилась в Европе. Далеко на Востоке еще не поставлен на колени последний агрессор.

Пишу домой письма. Взгрустнулось о семье. Задумываюсь о предстоящем.

Тронулись. Настроение меняется. Под стук колес, под веселый говор моих спутников начинаю чувствовать себя бодрее. Комроты Максимюк седлает очками нос, садится за объемистый «Порт-Артур» Степанова. Я пишу для боевого листка вирши:

Мы готовы опять к отправлению.  
Машинист, дай последний свисток.  
Пусть гремят буфера и сцепления.  
Пусть везут нас на Дальний Восток!  
Едем мы на Японское море,  
Едем мы за широкий Амур,  
Если будем с японцами в ссоре,  
Попадем и в Мукден и в Артур...

Мое рифмоплетение кончалось словами:

Отвернем мы последние гайки  
От обломка фашистской оси...

Максимюк прочитал, улыбнулся:

— Очень уж откровенно,—сказал он,—не годится в боевой листок, мы еще не в состоянии войны с Японией, чтобы печатать такое. Спрячь пока...

— Есть спрятать, товарищ комроты!

4—6 июня. Дорога в Сибирь и на Дальний Восток, дорога пота и крови, дорога царской каторги и ссылки, дорога горьких слез, заунывных и бодрых песен, по которой изгоняли колчаковцев и японских захватчиков.

Некрасов говорил, что

...Русский народ  
Плакать не любит, а больше поет.

Пел народ и поет о Ермаке—завоевателе Сибири; и нет-нет, да еще где-нибудь воспоминанием прошлого звенят слова песни:

Динь-бом, динь-бом,  
Слышен звон кандалный,  
Динь-бом, динь-бом,  
Путь сибирский дальний.  
Динь-бом, динь-бом,  
Слышно там и тут,  
Нашего товарища на каторгу ведут...

Еще можно иногда слышать о далекой стране Иркутской, где «между двух огромных скал, обнесен стеной высокой Александровский централ»...

Живут, как воспоминание, песни беглых каторжников, прошедших огонь и воду и тысячеверстные дикие пространства.

...Шилка и Нерчинск не страшны теперь,  
Горная стража меня не поймала,  
В дебрях не тронул прожорливый зверь,  
Пуля стрелка миновала...

Это та самая дорога, по которой пробирался и «бродяга с Сахалина звериной узкою тропой» и «от павших твердынь Порт-Артура, с кровавых Маньчжурских полей, калека-солдат изнуренный к семье возвращался своей...» И наконец, памятна в песне слова:

«И останутся, как в сказке,  
Как манящие огни,  
Штурмовые ночи Спасска,  
Волочаевские дни».

По длинному мосту пересекаем мутную Каму, касаемся окраины города Молотова, окутанного дымом фабрично-заводских труб.

7—8 июня. Чем дальше на восток, тем осязательнее чувствуется начало лета. За Тоболом и Иртышом беспредельные просторы древнего кучумова царства. Посевы зерновых не охватишь взглядом. На лугах обилие цветов, которым не стыдно бы расти в городских оранжереях. В наших теплушках появились букеты. Я не знаю названий сибирских цветов, потому что на севере, в далекой Карелии и холодном, каменном Заполярье отвык от этой роскоши. Там на столе у генерала не встретишь таких цветов, какими усеяны сибирские луга. На станциях и полустанках по-

ражает обилие и дешевизна продуктов, и это,—несмотря на продолжительность войны и несмотря на то, что проходит здесь невиданное множество поездов,—на колхозных базарах, рядом с вокзалами,—продуктов не убывает. Возможно, это еще и потому, что питание личного состава в пути нашими интендантами налажено хорошо. Завтрак, обед и ужин получаем ежедневно и бесперебойно.

Женщины выходили к поездам, интересовались:

— Не едут ли наши мужички сибирские?

Бывали мимолетные, трогательные встречи.

Иногда мы на вопросы отвечали:

— Едем домой, демобилизованные...

А нам с лукавой усмешечкой говорили:

— Куда бы вы ни ехали—возвращайтесь с победой!..

9 и ю н я. Вечером наш эшелон «затерялся» на путях в Новосибирске.

Освещенный рефлекторами, перед тысячами вагонов возвышается громадный вокзал. Кое-кто из наших успел сбегать в ресторан и попробовать сибирского пива. Пиво хвалят и хвалят образцовые порядки Новосибирского вокзала, хвалят его устройство и хвалят здешних железнодорожников за четкость работы. В течение одного часа мы успели вымыться в бане. Едем дальше. Ночь, а не спится. Одни из нас молчаливо всматриваются в белесое марево короткой ночи, любуются на незнакомые сибирские края, другие, сидя на верхних и нижних нарах, ведут оживленный разговор:

— Эх, велика и богата наша землячка. Есть где развернуться.

— Земля земле рознь,—слышится другой голос,—вот у нас на Севере земля и толста, да пуста, без навоза ни черта не родит. Что толку в ней?

— Как что толку? Где еще такие леса растут в нашей державе, как у вас на Севере?—вмешивается третий собеседник, а четвертый о своей украинской земле говорит:

— Завидуют люди плодотворности нашей украинской земли. Верно, землячка стоящая. А того не знают, почему она плодотворная. Где еще так земля смочена кровью, как на Украине? Нигде! Не мало повоевано на украинской земле!..

Потом разговор заходит о Японии; решают ее судьбу, угадывают, что будет с Маньчжурией и Кореей, когда они будут освобождены от японских захватчиков, говорят о том, что Сахалин весь должен быть наш, как и был до 1905 года, что в Порт-Артуре должны быть наши посты, что и барьер из цепи Курильских островов для нас не будет лишним...

— Япония коварна и зла, как змея,—говорит комроты,—силы ее нельзя недооценивать. Не знаю, как с техникой, а людских

резервов там хватает. При этом надо учитывать фанатичную воинственность японцев.

— Это учитывается. Не с иконами и не с голыми руками, как это было сорок лет назад, едем мы туда. У нас есть чем образумить самураев.

Смолкают голоса. Под унылый скрип расшатанных досчатых стенок, под стук колес, с восходом солнца все офицеры в вагоне ложатся спать. Лишь один дежурный, приоткрыв дверь, сидит на табуретке под шинелью, брошенной в накидку, и, кивая головой, мечтательно дремлет.

Я не могу уснуть. Берусь за дневник. Максимюк приоткрывает один глаз, спрашивает:

— А как по вашему, товарищ Коничев, долго у нас с Японией война продлится?

— Трудно сказать,—отвечаю ему,—война еще не началась. Все будет зависеть от нашей боеготовности и от силы первых наших ударов.

— Тогда какой же характер должна носить война с последним агрессором?—снова спрашивает он.

— Для японцев она должна быть теперь скоротечной, как последняя стадия чахотки.

15 июня. Утром в Иркутске. Своеобразный город.

Высокий горбатый мост из грузного железобетона висит над широкой и быстрой рекой, над самой прозрачной в мире рекой—Ангарой. За городом—живописные места. Здесь бы курорты строить и кинокартины снимать.

Едем по склонам гор над Ангарой. Много лодочников-рыбаков. Высокие берега в зелени лесов напоминают собою Жигулевские горы Приволжья. Иногда поезд изворачивается вокруг обтесанных, отвесных скал и мчится по обрывам над чистой рекой, и тогда даже из окон вагона отчетливо, до мельчайших камушков, виднеется на большой глубине дно прелестной Ангары.

Мосты и тоннели тщательно охраняются зенитками, устремленными хоботами в лазоревое безоблачное небо. Кружат самолеты стаями и одиночками. Стало быть, здесь недалеко граница...

В эту поездку воочию убеждаешься, как велик наш белый свет, какая громадная разница между Севером России и ее Востоком! И земля, и небо, и воды, и растительность, и все живое здесь как-то не так выглядит. Даже лягушки,—черт их побери, сколько их тут!—и те квачат не так, как на севере, а неутомно всю ночь напролет стонут, ноют звонко и напевно. Или,—в ночной темноте летают, мелькают искорки, можно подумать, что от паровоза или от чьей-либо цыгарки. Присмотришься—оказывается это какая-то фосфорическая мошкара. Чудно.

Пока я это записывал в дневник, товарищи, стоявшие в раскрытых дверях вагона, опершись на поручень, закричали:

— Байкал! Байкал!

— Вот оно, славное море, священный Байкал!..

Нет, я не в силах описать красоту здешних мест. Вот сюда бы, на этот откос, где поезд с грохотом вырывается из мрачного подземелья и несется, извиваясь, по побережью, посадить бы на целое лето морского кудесника Айвазовского. Ему одному, покойному, но живому в своих творениях, был бы под силу и по плечу пейзаж Байкала с его очаровательной прибрежной природой, со всеми еле уловимыми оттенками его поверхности, меняющимися в зависимости от глубины, света, движения и перемены воздуха.

17 июня. Едем 17-й день. Каждый день свежие газеты, радио-известия, два-три раза горячая пища, иногда культурные развлечения. И то многие склонны жаловаться на надоедливость продолжительного пути. А как же раньше, в старину? Как же тогда, когда не было этой железной дороги, построенной в свое время, в основном, трудом каторжан?

Вспоминаю кое-что прочитанное о Сибири и Дальнем Востоке. Встает перед глазами образ милого человека, в пенсне, с русской бородкой, образ Антона Павловича Чехова. Человек с расшатанным здоровьем, но со здоровым устремлением, летом 1890 года пустился в далекий путь на Сахалин. Лошадь и лодка—вот средства его передвижения. Нет худа без добра: при таких условиях связи он мог запечатлеть столько, сколько ему было желательно. А тут иногда в ночное время мы проскакиваем целые города и районы, совершенно не замечая их. Да и днем много ли увидишь, услышишь и узнаешь на ходу поезда или на кратковременных остановках?

Чехов писал: «Вообще говоря, от Байкала начинается сибирская поэзия, до Байкала же была проза».

В этой чарующей, поэтической местности, где-то за Улан-Удэ, мы долго стояли на станции Петровский Завод. Я вспомнил своего двоюродного брата Ивана Васильевича Серегичева, из деревни Кокоурово, Устькубинского района, Вологодской области. Серегичев за убийство монаха был осужден и отправлен на каторгу и вечное поселение и отбывал наказание здесь, на Петровском Заводе, копал землю, вывозил ее в тачке, к которой был прикован, строил эту железную дорогу. В семнадцатом году, после февральской революции Серегичев вернулся с «вольного поселения» к себе в вологодчину. Посмотрел, как живут его земляки, поскучал и уехал обратно... сюда, в этот дальний угол сибирской поэзии.

Едем дальше. Очевидно, мы доберемся до Приморья. Там,

говорят, наше фронтовое начальство. Передается из уст в уста, из ушей в уши, что маршал Мерецков с группой военных начальников уже находится там. Молчим и строим догадки.

Подполковник Марахин на остановках обходит вагоны, предупреждает парторгов и агитаторов заострить внимание среди офицеров на бдительности в условиях дальневосточной пограничной местности. Мне поручается прочесть лекцию (давно уже подготовленную) на тему: «Японский шпионаж и наша бдительность».

19 и ю н я. После бани и обеда, на каком-то разъезде, лекция состоялась. Слушали довольно внимательно. Подполковник посоветовал мне из лекции сделать основательную статью и послать в армейскую или фронтовую газету и сказал, что лекция такая еще не раз понадобится в другом месте.

20 и ю н я. Странное название станции—«Ерофей Павлович». Так и написано на вокзальной вывеске: «Ерофей Павлович». И опять скажу: плохо мы знаем самих себя, свое прошлое. В вагоне 25 офицеров. Спрашиваю:

— Кто знает Ерофея Павловича?

— Я знаю, вино такое есть, вроде зубровки, «Ерофеичем» называется,—отозвался комроты Максимюк,—крепкое, забористое вино. А вот кто такой Ерофей Павлович,—понятия не имею.

И ни один из 25 офицеров, среди которых не было дальневосточников, не знал, в честь кого так наименована станция.

Марахин наугад сказал:

— Я знаю: это был такой партизан в гражданскую войну. Когда его расстреливали японцы и белогвардейцы, он не сказал им своей фамилии, об имени догадались по шинели—внутри на холщевой подкладке было написано: «Ерофей Павлович». Так это в честь того партизана станция.

Другой заметил:

— А мне сдается, что-то не так. Слышал я вот, а что—не помню.

— Не стахановец ли какой?

— Нет, нет, эта станция так зовется еще до стахановского движения; я тут ехал, «Ерофей Павлович» так и было...

— О чем разговор!—воскликнул Максимюк,—разрешить просто: поручим кому-либо по приезде в Хабаровск разузнать и доложить нам. Почему именно «Ерофей Павлович», а, скажем, не «Степан Григорьевич», не «Тимофей Петрович» или не «Егор Иванович».

22 и ю н я. Последние двое суток ехали с некоторыми задержками. Не исключалась возможность прибытия к месту дислокации, где-нибудь в районе Хабаровска, на берегах Амура—этой дальневосточной Волги.

Правда, на Амуре меньше селений, чем на Волге, не так развито и судоходство, но Амур, по отзывам очевидцев, живописней Волги.

Да, мы не возражали бы выгрузиться здесь, в местах, где триста лет тому назад было сплошное безлюдье, невероятная глушь величайших пространств земли, не принадлежавшей никому.

Кочевники—нивхи и нанайцы—не считали себя хозяевами просторов Дальнего Востока.

Первым из русских путешественников, с целью изучения и освоения неведомого края, прибыл сюда в 1639 году Иван Москвин с двадцатью красноярскими казаками, затем в 1643 году путем Москвина, по Амuru, предпринял путешествие Василий Поярков. Тогда появились здесь первые небольшие поселки, первые нивы на плодородной земле первых русских землепроходцев...

Жирная земля, обильная природа—растительный и животный мир Приамурья—привлекали русских засельников Дальнего Востока необычайностью богатства и возможностью жить здесь вольготно и сыто.

В свое время, увидев в устье Амuru косяки кеты, землепроходец Поярков восклицал:

— А рыба тут, будто сдурна, сама на берег лезет...

Немного позднее, в 1649 году, пашенный крестьянин и торговый человек, сольвычегодский уроженец, промышлявший 11 лет в Сибири на Лене, Хабаров Ерофей Павлович написал Якутскому воеводе челобитную, прося у того позволения снарядить людей в поход и закрепить за Русью Приамурье. Воевода согласился разрешить «Ярко Хабарову поход на Амур иною дорогою, чем шел Поярков».

С отрядом из 150 отважных воинов Ерофей Павлович перелез Хинганский хребет, вышел в верхнее течение Амuru. Много труден был путь по неизведанной дикой земле! Даурские князьки сопротивлялись, хабаровцы, преодолевая их сопротивление, шли вперед.

У слияния рек Шилки и Аргуни, откуда берет начало Амур, Ерофей Павлович Хабаров построил крепость Албазин. Это неподалеку от той станции, что названа именем и отчеством славного исследователя и завоевателя.

В 1651 году Хабаров у слияния Амuru и Уссури, на высоком скалистом берегу, заложил зимовье, которому суждено было стать впоследствии городом Хабаровском. По окончании продолжительной экспедиции, якутские приказные писали царю Алексею Михайловичу: «...а сказывал он, Ярко Хабаров, нам, холопам твоим, что и против всей Сибири будет место то украшено и изобильно...»

Таким образом, Ерофей Павлович явился продолжателем деяний славного Ермака Тимофеевича.

Царь по достоинству оценил труды Ярко Хабарова и высочайше, всемилостиво соизволил считать себя Хабарову боярским сыном и именоваться впредь по заслугам Ерофеем Павловичем! Величаться так по отчеству считалось в ту пору великой честью, и очень немногим это позволялось. Со времени Хабарова Дальний Восток стал Россией. Но даже высокопоставленные люди не ведали еще тогда границ земли русской. Недаром Петр Великий, снаряжая в далекий путь любознательных землепроходцев, наказывал им продолжать дело знаменитого Хабарова, исследовать русскую землю и узнать достоверно, «где она сошлась с Америкой».

Обо всем этом я узнал и доложил в нашем вагоне офицерам на остановке в Хабаровске, городе большом и разбросанном...

23 июня. Прибыли и выгрузились в городе Спасске. Низенькие хаты, помазанные и выбеленные снаружи, обросли зеленью подсолнуха и кукурузы. Пригородные поля захлестнуло ботвой картофеля, там же—участки, засеянные фасолью, соей, засаженные капустой, тыквой, помидорами, арбузами, огурцами. Полосы табачных растений, густых, с широкими листьями, запашистой мяты, цветущего мака, чумизы, гороха, бобов,—здесь растет все, что может расти. Климат какой-то неопределенный: за один день, сегодня, погода менялась пять раз. Ничего, привыкнем! Или мы к погоде, или погода к нам. Суровой-то Карелия и Заполярья навряд ли еще где есть места. И народ-то здесь какой-то упитанный, с загаром, будто не тронутый войной, от которой там, подальше в России, народ изрядно устал.

До нашего приезда здесь стояли другие части. Они подтянулись ближе к границе. Мы занимаем освобожденные помещения. Домов кирпичных, двухэтажных здесь много, все они крепкой, давней кладки. Устраиваемся. Моемся в бане. Вечер и ночь здесь гораздо темнее, чем в оставшейся позади Сибири. В городе три парка, в каждом кино, танцевальные площадки, обилие электрического света и много музыки. Войной вроде не пахнет. Население чувствует себя совершенно спокойно.

В городе шесть библиотек, два парткабинета. Будет свободное время—есть чем заняться...

25 июня. Сегодня узнали по радио и из газет о демобилизации старших возрастов личного состава действующей армии. Но указ о демобилизации не касается войск Дальнего Востока. Значит, так надо.

В штабе полка составляют программы и расписания занятий, с учетом изучения опыта Отечественной войны применительно к условиям дальневосточной местности...

28 и ю н я. Был гарнизонный митинг по поводу присвоения товарищу Сталину звания Героя Советского Союза, награждения его орденом Победы и присвоения высшего воинского звания Генералиссимуса. Митинг прошел торжественно.

19 и ю л я (и записи без даты) 1945 года.

Срочно вызвали в штаб полка. Представитель командования Приморской группы войск кратко проинструктировал, вручил заранее заготовленные командировочные документы. В секретном предписании значилось: «По заданию Военного Совета». Очень приятно! Мне довелось поехать в одно из соединений армии генерал-полковника Крылова. Зачем, какая цель командировки,—писать об этом не обязательно. Одно знаю, что предстоит многосуточный маневр по сопкам Приморья.

Ночью прибыли на станцию Мучная. С Мучной через Черниговку в Лунзу, с Лунзы в Халкин-Дон, в сопки. Здесь их, обросших зеленью, много, много. И, кажется, под каждой сопкой, в густых зарослях низкорослого дубняка, в кустах дикого виноградника, в шалашах, под палатками—всюду скопища военной силы живой и всякой механической. Рядом железная дорога на Владивосток, по ней попрежнему эшелон за эшелон идут и идут тяжеловесные пушки на платформах и другие всевозможные виды оружия, отвоевавшие свой срок на западе. Видя всю эту военную махину, невольно начинаешь чувствовать и мысленно предсказывать:

— Последнему агрессору немного осталось жить и буянить. В такой смиренной рубашке микадо недолго напрыгает!

Днем занимался делами при штабе дивизии, вместе с начальством соединения создавали какие-то комиссии, ставили перед ними задачи. Все это меня не занимало, не увлекало. В дивизии я временный гость, командированный. Меня интересует, помимо задания, другое: люди в походе, их настроения, цель движения, местность и умение к ней применить и так далее.

Солнце здесь всходит со стороны Японии и закатывается в Маньчжурии. Мы в глубоком выступе, вклинившемся в Приморский угол. Наш путь по военным дорогам и проселкам простирается на двести с лишним километров в сторону Гродекова и Пограничной. Я даю себе слово, что ни одного километра не поеду на автомашине, а буду с пехотой вышагивать пешком. Нужна закалка. Кроме того, будучи вместе с людьми, больше услышу, увижу и узнаю.

Выступили ночью при луне. Ожило, зашевелилось шоссе, на каком протяжении—трудно сказать. Справа пехота, автоматчики, пулеметчики, обозы. Левей нас в обгон несутся бесчисленные грузовики всех мастей и грузоемкости. Обычная картина военной дороги, а на границе пока тишина. В темной синеве ночного неба

слышен отдаленный гул моторов, между звезд мелькают опознавательные фонарики самолетов. Это патрулирует наша авиация. Ночью прохладно и менее пыльно, нежели днем. Тихо, без песен и лишнего шума шагает пехота. С автоматами, без всякой прочей выкладки идти вольготно, не тяжело. Личные вещи, питание, боезапасы—все сложено на автомашины и подводы. Я иду позади батальона. Рядом со мной майор Лебедев, прибывший сюда с частью из поверженного Кенигсберга. Майор моложе меня лет на десять, поскольку выше меня званием—относится ко мне начальнически, высмеивает мою нерасторопную походку. Ему неизвестно, что мои ноги вынесли три морозных зимы и четыре холодных, слякотных осени в дебрях и болотах неуютной Карелии и обледенелого Заполярья, а ноги мои это чувствуют, и поход для них—проверка: выдюжат ли? Вроде бы сжался надо мной, Лебедев говорит:

— Подожди, капитан, у меня на подводе есть хорошая немецкая трость, я тебе ее подарю, ходи—подпирайся. Может, тогда прибавишь шагу...

Он подает мне легкую, но прочную трость с роговой рукояткой—клюшкой и серебряной накладкой.

— На вот, да не бросай. Я ее из самого Тильзита сюда привез. А знаешь, как было: эту трость много лет таскал какой-то противный бюргер. Он этой тростью бил своих рабынь, украинских полонянок. Потом, когда мы пришли в Тильзит, девушка-украинка лупила этой самой палкой бюргера. Всю ему физиономию в кресты исполосовала, а трость, черт ее знает из какого дерева,—цела осталась... Носи, только не бросай. Покончим с Японией, увези ее домой и там форси, носи как трофею...

Трость мне понравилась. Хотя и трудно ее уберечь, однако, дал слово—хранить подарок.

Позади нас напирала пара лошадей, запряженных в продолговатую бричку. В бричке на высоком, перетянutom веревками возу—двое: старичок ездовой и связной майора Лебедева. Видны их силуэты и слышится голос связного:

— А я так поменяю: мы туточки не долго пробудем. Давнем как следует, и Япония... накроется. Да чего она сможет против нашей силищи!? Ведь мы-то от войны только привычней и сильней в бою стали. Разве ты наемни не читал в газете,—под Москвой в сорок первом против немцев у нас было 550 танков, в сорок втором под Сталинградом—свыше тысячи, в сорок третьем под Курском—более трех тысяч, а в сорок пятом под Берлином—более четырех тысяч танков... Вот и считай.

— Конечно, против такой силы япошке не перечить,—соглашается возница,—только местность тут у него непролазная и, говорят, укреплена сильно...

— Ну и что? Разве мы не знаем, как укрепления в воздух взлетают?

— До весны сорок шестого проковыряемся...—произносит ездовой.

— Смотря когда начнем.

— Я думаю, не замедлим. Не иначе, вот и мы к исходным рубежам кочуем...

Майор, останавливаясь, закуривает и говорит так, чтобы было слышно на бричке:

— Послушали бы Мерецков и Василевский, как наши хлопцы планируют. Эй, вы, поговорите-ка о чем-нибудь другом...

На бричке замолкают, но не надолго хватает терпения молчать. Юноша—связной—булькает фляжкой, пьет и тихонько на мотив «Сулико» заводит песню:

Долго я катушку мотал,  
А ее мотать нелегко.  
Долго я блудился и искал,  
А до КЭПЕ далеко...

— Он у меня из роты связи,—поясняет слова песни майор Лебедев,—молодой и ловкий парнишка...

А через полчаса, примерно, мы с Лебедевым, шагая молча и задумчиво, слышим опять разговорчики с брички. Там старый ездовой и двадцать шестого года рождения связной диспутируют, соревнуясь в военных познаниях.

— Теперь не те стали дивизии, что в начале войны,—говорит ездовой,—люди поиссякли.

— А при чем тут много людей? Было бы больше моторов и пушек,—возражает ему задорный молодой сосед.

— А ежели в атаку идти? Кто «ура» будет кричать, если все будут у моторов и орудий?..

— Погоди, старина, ученые подумают, да и изобретут такую орудью, что и стрелять станет и «ура» заорет она в тыщу глоток...

Потом они смолкают и думают каждый о своем: вознице приходит в голову далекий тихий Дон, связной, вероятно, думает об офицерских курсах...

\* \*  
\*

После двадцатипятикилометрового перехода усталые сворачиваем с шоссе, останавливаемся на отдых до следующего вечера. На остановке сырость и холод дают себя чувствовать. Не раздеваясь, ложимся с майором Лебедевым на плащпалатку под телегу. И спим, как боги, беспробудно до высокого солнечного восхода, до наступления жары. Гремя чайником и котелками, ездовой будит нас. Вылезаем из-под повозки, поставленной в гу-

стой и высокой траве, перво-наперво озираемся, осматривая окружающую местность. С холма на холм прямой серой полосой уходит на юг Приморья асфальтом покрытое шоссе. По сторонам на столбах—многочисленные струны проводов. Обширные поля волнистой пшеницы, кое-где начинается уборка обильного урожая. На шоссе мелькают автомашины. По соседству с нами, вдоль ручья, пробудилась матушка-пехота. Бойцы в одних нательных рубахах умываются. Отдельные группы, вместо физзарядки, приняли путешествие на высокую крутую сопку, лезут, как муравьи, крохотные, чуть заметные глазу, если бы не белые тельняшки—их бы не разглядеть: настолько они высоко забрались, настолько густа зелень от подошвы горы до самого верха, густа и цветиста. Хорошо в такой добрый летний день отдыхать на просторе под голубым глубоким небосводом. Однако отдыхать некогда. С майором Лебедевым идем по привалу, разыскиваем грузовик с канцелярией отдела кадров. Нашли. Припухший, с лоснящимся лицом начальник, майор Солдатов, небрежно проверил мои документы. Спросил, глядя в сторону, чем мы интересуемся, ругнулся и высокомерно сказал, что на марше, в пути, он не раскроет своей канцелярии, хоть сам генерал приказывай.

Уламывать его долго не пришлось. Заглянули в «хозяйство» Солдатова, обнаружили массу недочетов—упущений в расстановке офицерского состава. Стали журить. Солдатову не понравилось.

— Где сказано, чтоб какой-то капитан мог меня критиковать? Не позволю. Я знаю, что делаю...

Майор Лебедев заметил ему:

— Не хорохорьтесь, дорогой товарищ. Расстановка всех офицерских кадров в соединении должна быть, как в хорошо слаженном оркестре, чтобы каждый по специальности и по всем другим личным качествам был на своем, законном месте, тогда и воевать будет легко. Прежде чем определить офицера на место, вы должны его познать всесторонне, а не ограничиваться беглым перелистыванием личного дела.

— Знаю я, не первый день работаю в кадрах. Сам наградами отмечен. Я всякого насквозь вижу. А если, бывает, люди не соответствуют, то не по моей вине. А порядок в делах наводить будем—когда все это кончится и поселимся на мирные квартиры...

Лебедев, перебивая, продолжает его пробирать:

— Вот и партийная работа у вас, товарищ Солдатов, хромает. Бывать на собраниях и на политучебе вы считаете ниже своего достоинства. Куда же это годится, товарищ майор? Думаєте, что достигли предела величия? Дальше ехать некуда? Напрасно! Игнорируя парторботу, отрываясь от партийной жиз-

ни, где бы то ни было, вы катитесь по наклонной вниз. Вы подрубаете сук, на котором худо ли, хорошо ли вы выросли и пока держитесь. Понятно это или нет? Так поймите раз и навсегда: вот вы любуетесь собою, прихорашиваетесь внешне, учитите, что если вы кажетесь хорошим сами себе, совершенным, не терпящим критических замечаний, то это не значит, что вы в действительности совершенство. До этого любому из нас далеко. Не надо напускать на себя важность дутого величия. Ни к чему это. Людей будут оценивать по их повседневным делам, по их способности расти, развиваться, правильно мыслить и быть полезным на общественной арене. А для этого не надо забываться, не надо ни на минуту отрываться от живого дела, и всюду, везде вкладывать в дело дух партийности и принципиальности.

Мне лично понравилась прямота Лебедева.

Солдатова проняло. Он стал более покладист. Но работу совместно с ним по кадрам соединения пришлось прекратить из-за пустяка.

Дело в том, что в приморских сопках, богатых растительностью и всякой живностью, водится некое насекомое—шершень. Не знаю, что это за чудо природы. Но знаю, что шершень с налету впился Солдатову в шею и еще раз—в лоб. С первого укуса майор зашатался как угорелый, со второго слег в постель и не показывался из фургона грузовой трофейной машины. Говорят, смертельных случаев от этой «животины» не бывает, но остерегаться нужно. А как их распознать? Здесь водятся мухи величиной с воробья и воробьи размером с муху. Кто из них ядовитый, кто безопасный, поди—знай.

\* \* \*

За короткий срок времени, а именно, за семь дней отдыха и восемь ночей похода мы завершили маневр, прошли свыше двухсот километров целой армией—всех видов войск. С Халкин-Дона на Манзовку, с Манзовки на Вознесенку и Нестеровку, с Нестеровки на Жариково, из Жариково наш поход продолжен был через селение Бойкое на Гродеково, а отсюда в сопки на границу Маньчжурии. Наши некоторые артиллерийские части расположились в непосредственной близости от японских укреплений. А стрелнуть нам будет чем. Дело за командой, за приказом. Судя по тому, что нами подтянуто к границам Маньчжурии; судя по характеру нашего маневра к исходным рубежам в направлении наиболее укрепленных районов японских войск; судя по тематике бесед и лекций, проводимых среди рядового и офицерского состава—мне кажется, что начало войны с Японией не за горами, а гораздо ближе...

Срок моей командировки кончается. Пишу отчет. Прилагаю акты комиссий.

2 августа. Я в городе Ворошилове, бывшем Никольске-Уссурийске. Приехал сюда в штаб... группы войск. Сдал документы и отчетность по командировке. Претензий ко мне не было, значит с заданием справился. Разрешили два дня погулять в городе и—обратно в Спасск, в свой резервный офицерский полк, впредь до востребования...

5 августа. Утром у себя в роте провел по газетным материалам политинформацию о Берлинской конференции трех держав. Все, что изложено в сообщении—ясно, не вызывает ни толкований, ни недоумений. О Японии в сообщении ни слова. Только сказано, что «во время конференции происходили встречи начальников штабов трех правительств по военным вопросам, представляющим общие интересы».

Получил документы на выезд в отдел кадров. Вечером снова в Ворошилове.

7 августа. Короткий разговор с редактором военной газеты. Мои условия быть временно прикомандированным устраивают меня и редактора. Получаю деловой инструктаж, как спецкор.

Получаю продаттестат, командировочное удостоверение и... в светлые сумерки, до потемок, еду с первым поездом.

Поезд пересекает кусок степи. За степью виднеются по сторонам не столь высокие горы, подернутые тяжелыми облаками. Внизу пласты тумана. На коротких остановках обычная суетня. В пути от разъезда к разъезду суровая тишина, нарушаемая грохотом запоздавшего поезда. Стемнело. По мрачным и пыльным улицам пробираюсь на окраину станции к шлагбауму, откуда расходятся в двух направлениях дороги к Маньчжурской границе. Попутная грузовая машина—одна из многих сотен спящих здесь студебеккеров—за каких-нибудь десять-пятнадцать минут доставляет меня в политотдел дивизии. Ночь провожу под повозкой; чтобы не отсыреть, не простыть от холодной и жирной земли—сплю на фанерном листе.

8 августа. Памятный день. Радио принесло весть о том, что наше правительство присоединилось к обращению союзных держав от 26 июля о безоговорочной капитуляции Японии и заявило, что с завтрашнего дня, с 9 августа, СССР будет считать себя в состоянии войны с Японией...

Напряженный день: чувствуется суровая сдержанность, строгая подтянутость и у всех готовность выполнить долг, выполнить боевой приказ, а он вот-вот должен последовать.

Великое и сильное всеми видами оружия, советское войско раскинулось более чем на тысячеверстном пространстве При-

морья, Приамурья и Забайкалья—войско, готовое нанести мощный и решительный удар—удар расплаты—по агрессору.

Перед нами с многомиллионным населением растоптанная японским агрессором Маньчжурия; перед нами от границ Монголии и Китая до побережья Японского моря стоит миллионная, отборная Квантунская армия с огромными резервами. Командующий этой армией, наместник императора в Маньчжурии, барон Ямада Отодзо давненько-таки мечтал прорваться своей громадой через наши дальневосточные рубежи и повстречаться на скатах Уральских гор с войсками кровожадного Гитлера. Теперь эти мечты, надо полагать, рассеялись, и не такой уж дурак барон Ямада Отодзо, чтобы не подумать сейчас о другом. Он не только думает, он действует. По данным нашей разведки, японская армия за последнее время насыщена отрядами штурмовиков-смертников, поклявшихся перед портретом микадо пожертвовать собою, броситься в пропасть, хоть к черту на рога, во имя Японии—страны богов.

Перед вечером небо заволокло тучами. Поблескивали молнии, сопровождаемые глухими раскатами грома. В частях и подразделениях тишина. Ни беготни, ни выкриков—всюду сосредоточенность.

Вот рота смуглых от загара, чумазых от дорожной пыли автоматчиков. Все они—юноши последнего призыва. Пороха еще не нюхали. Только закончили военную выучку. А дальше впереди в двух-трех километрах кадровые части дальневосточников. Им предоставляется честь первым ударить по врагу... Молодые автоматчики сидят, собравшись в круг. Густая высокая трава скрывает их с касками. Политработник, то и дело заглядывая в конспект, проводит с ними беседу о том, какой «должок» мы имеем перед агрессором на востоке, и какой «монетой» пришло время расплатиться. До меня доносятся отдельные фразы его беседы:

— В девятьсот четвертом и пятом годах японцы, пользуясь слабостью русского царизма, без объявления войны напали на Россию...

— С восемнадцатого по двадцать второй японские интервенты грабили Дальний Восток, убивали, разоряли... Сожгли Сергея Лазо...

— В тридцать восьмом на Хасане, в тридцать девятом в районе Халхин-Гола они наткнулись на наши штыки, получили по зубам, но и после этого провокации и диверсии продолжались.

— Во время Отечественной войны, соблюдая формально «нейтралитет», японцы нередко наносили удары нам в спину; мешали напряженной работе Тихоокеанского торгового флота...

Я смотрю на задумчивые лица молодежи, на лица, подернутые тенью переживаний перед опасностью грядущего: думаю о неизбежности жертв и о предстоящей победе русского оружия.

## 29. НАЧАЛАСЬ ВОЙНА

Более трех месяцев прошло с того дня, как повергнутая на колени фашистская Германия подписала акт о безоговорочной капитуляции. Очередь за последним агрессором... На нашем участке прорыва, на каждом километре фронта сосредоточено свыше двухсот орудийных стволов. Ожидаю, что произойдет канонада, как бывало на Свири или в Заполярье. Казалось, что война начнется с артподготовки, с «обработки» переднего края самой границы.

Ничего подобного здесь не произошло. Дивизия из армии генерал-полковника Крылова стояла в ложбине между сопок. Была непроглядная ночь. Шумел проливной дождь, рассекая лопухи и листья высокой травы. Никто не спал. Накрывшись плащ-палатками и накидками, люди стояли в томительном ожидании. Учащенно бились сердца бойцов. Командиры шопотом передавали последние предупреждения о тщательности приготовлений.

Перевалил первый час с 8-го на 9-е августа. Началось великое наступление по всему фронту. Здесь у себя, на узком участке, я не слышал словесной команды и не заметил сигналов. Видел, как цепью проходили войска. Быстро и молчаливо. Через короткий промежуток времени, показавшийся слишком долгим, разнеслось «ура». Засверкали вспышки частых выстрелов. Где-то сзади нас, совсем неподалеку, грянули пушки и, очевидно, большой надобности в их участии не было,—быстро смолкли. Тогда начался гул моторов, танков, автомашин и орудий—«самоходок». По шоссе и по сторонам зашевелилась стальная лавина машин. Рев моторов усилился. Лавина с грохотом и скрежетом двинулась к границе. Люди забыли обо всем, о чем можно забыть в такой неповторимый момент. Долго гудело в ушах, долго мерещились в глазах мелькающие в ночной мгле силуэты мощных машин, оставляющих за собой черный глубокий след.

И вот уже впереди нас, обогнав ранее выступившие батальоны, тяжелые танки и самоходная артиллерия поднимают с хода пальбу, сметают со своего пути препятствия, лезут через узкие траншеи, сбивают надолбы, мнут проволочные заграждения, устремляют огонь большой силы на цементированные огневые точки японцев. Следуя за боевой техникой, наши пехотинцы, склоняясь до уровня травы, прыгали в траншеи противника, там довершали свое дело. Перед рассветом, когда стороной на почти

тельной высоте прошли наши бомбардировщики и штурмовики в сторону Маньчжурии, мы заметили первый след войны: воронки от снарядов, развороченные доты, обломки орудий. На прямой, загубленной грязной от земли и сырой от дождя траве, там и тут валялись трупы и клочья трупов японских солдат. Бой уходил вперед. Здесь уже были первые пленные. Их отводили в сторону, к грузовикам, и с помощью переводчиков поспешно допрашивали.

Один из них уроженец Токио, Таман Эйтаро, прищуренный, без головного убора, стоит с раскрытым ртом, он готов отвечать на любые вопросы. Поглаживая руками живот, он кланяется, как полагается по их военному уставу кланяться только перед портретом императора,—сгибаясь в пояснице и склоняясь туловищем на 45 градусов. Эйтаро говорит:

— Мы не знали, что русские так богаты военной техникой. Теперь мы всегда будем жить в дружбе с Россией...

Рассветало быстро и незаметно. За лохмотьями перегоняемых ветром туч пряталось солнце. Утро было серое. Для нас, северян, лучше серый день, лучше прохлада, нежели жаркий душный день.

Переводчик—молодой, лихой парень, только что вышедший с Хабаровских двухгодичных курсов японского языка, лейтенант Панфилов. Чувствуется, что неплохо владеет японским языком. Он донимает самурая расспросами, записывает ответы. Кончая эту процедуру, Панфилов ворчит себе под нос:

— Вот ведь чертов «макака»,—говорит, что японцы не хотели воевать против России, а для кого, спрашивается, у них такие словари заготовлены?

Самурай моргает узкими глазенками, приторно улыбается, оскалив выпяченные редкие зубы, поясняет:

— Словарь этот местами устарел... не изучали...

Панфилов, пробегая глазами сверху вниз замысловатые иероглифы, переводит отдельные места из словаря:

«Здравствуйте, как поживаете? Поздравляю с законным браком, днем рождения, с новым годом... (следует улыбнуться)».

После вежливого обращения карманный словарик японца не скупится на угрозы: «Сделать строгое лицо.—«Оружие долой. Молчать, я обыщу тебя... пошел, тебя не надо... достань мне пару свиней... дай лошади сена и воды. Бежать не надо, убью».

Я оставляю переводчика и пленного около политотдельского грузовика, тороплюсь догнать колонну наших автоматчиков. Нестынный след войны. Даже трупы не безопасны. И среди мертвых японцев есть живые, притворно притаившиеся. Трое таких с обнаженными мечами и криками «банзай» бросились на автоматчиков. Хорошо, что те были наготове. Две коротких очереди

уложили двух одержимых хитрецов. Третий японец совершил быстро и ловко харакири, как будто всю жизнь готовился к такому восприятию смерти. Обнажив остроотточенный, полированный меч с длинной рукояткой, он, уперев рукоятку меча в землю, припрыгнул на месте так, что ноги взыграли вверх, и только один раз вскрикнул. Когда мы подошли ближе, японец лежал, закрыв глаза. Острие меча, вспоров живот, вышло концом в спину. Говорят, что в безвыходном положении скорпионы тоже себя убивают...

Справа от нас за примятой и взрыхленной падью, вся в дыму виднеется развороченная снарядами сопка. Полсуток назад она выглядела совсем иначе. Железобетонные сооружения, приземистые, замаскированные зеленой растительностью и глубоко ушедшие в землю,—безусловно служили серьезной преградой для наступающих.

По своей прочности и замыслу построения они не уступают немецким укреплениям, тем, которые приходилось в прошлом году разбивать в Заполярье.

Спускаемся в мрачные подземные ходы и при свете карманного фонаря исследуем лабиринты укрепленного района.

— Не русским духом здесь пахнет,—говорит один из саперов, идущих впереди нас, и обнаруживает по пути подземный склад, наполненный мешочками и галетами, предусмотрительно облитыми какой-то вонючей жидкостью.

Зашли в дот. Двухэтажный, вместительный. В нижней половине—ящики с патронами, несколько тяжелых 410-миллиметровых чушек-снарядов. Каким-то чудом они уцелели, не взорвались, тогда как верхняя часть дота разрушена. Огромный многотонный колпак—сталь с цементом—вскрыт взрывом и сдвинут на сторону, как крышка с консервной банки.

— А было это так,—говорит тот же сапер,—наши ребята заштопали тяжелыми булыжинами амбразуры, а японцы тут сидели. Потом подкатали порцию тола, несколько пудиков, и вот результат...

Карабкаясь через обломки, через каркасы железных прутьев, переходим в наземный ход сообщения. Всюду валяются гильзы, каски, подсумки, котелки, ошметки окровавленной одежды и всякий хлам.

Несколько человек с автоматами и дегтяревским пулеметом наготове лежат за валунами, выжидают. Их старший предупредил нас, что дальше по этому ходу идти нельзя. Там есть уцелевший дот. Японцы заперлись в нем и до наступления ночи подойти к доту очень рискованно.

— Есть у них тяжелая мортира, парочка пулеметов. Стреляют только по цели. Один наш танк подшибли. Мы блокировали,

ждем. Не век же под землей будут находиться. А как покажутся на свет, мы тут и есть к их услугам,—спокойно и деловито рассуждает лейтенант—старший засады.

— Тише, тише,—вдруг предупредил он,—слушайте...

Мы прислушались. Откуда-то из-под земли доносились чуть слышные, глухие, монотонные и унылые голоса: не то песня, не то молитва.

— Это они,—пояснил нам лейтенант,—перед смертью своего бога умоляют, чтоб в рай без пересадки их принял... Товарищи, прошу не высовываться. Разом могут срезать. Тут всего метров пятьдесят...

...Войска 1-го Дальневосточного фронта, которым командует маршал Мерещков, продолжают наступление.

До полудня установилась жаркая погода. Просохла промокшая за ночь одежда и уже мокнет с другой стороны от соленого, обильно выступающего пота. Опустошаются фляжки. А на пограничных дорогах Маньчжурии все еще стоит, особенно в низинах, незасохшее месиво густой грязи. На грузовой трехтонке малой скоростью пробираемся по шоссе в сторону левого фланга. Справа, где-то вдали от нас, около станции Пограничной, идут бои за овладение тоннелями.

Мне нужно попасть в дивизию генерал-майора Сиверс.

Есть слухи, что эта славная дивизия, которую в свое время создал легендарный Василий Иванович Чапаев, одна из первых держит путь на Муденцзян.

Мы спешим, а трехтонка буксует и буксует, обдавая встречных и поперечных брызгами густой грязи. Шофер быстро сообразил: снял с соседней, застрявшей автомашины два мешка трофейного риса, высыпал под колеса, и мы сдвинулись с места. Ехали недолго. Обстрел дороги помешал быстро попасть в дивизию Сиверса.

Чтобы время не пропадало даром, иду в подразделение, через командиров рот и взводов выявлять и брать на заметку отличившихся. Навстречу попадают санитары и медсестры. Несут и ведут под-руки тяжело раненых. У одного пулей пробит живот. Лицо искажено едва переносимой страшной болью. Рана,— в большинстве таких случаев,—смертельна. Трудно поверить в положительный исход. Но раненый хочет жить. Он тихо выговаривает:

— Сестра... Не могу ли я попасть на операционный стол... к полковнику—профессору медицины Вишневному?..

У раненого на груди орден Славы и медаль за оборону Советского Заполярья. Я догадываюсь, что о хирургических чудесах доктора Вишневого боец слышался на Карельском

фронте. Кроме того, он знает, что Вишневский где-то должен быть здесь. Попадет ли раненый в надежные и умелые руки опытного врача—не знаю. Жизнь дорога каждому. Тем более обидно расставаться с ней в первый день войны на этом фронте. Человек хочет жить... Желаю ему выздоровления. Пусть бы ему удалось попасть к Вишневскому, про которого, помню, еще в Заполярье бойцы говорили:

«Убьют—не беда, отнесите к Вишневскому, он мертвого жить заставит...» И это похоже на правду. За время Отечественной войны полковник медицинской службы Вишневский провел шесть смелых и успешных хирургических операций, связанных с извлечением из сердца осколков и пуль...

Я отвлекся в сторону.

...С нарастающим боем продолжалось наступление наших частей. Сопротивление японцев возрастало. На войне не всякое действие равно противодействию: упорство солдат Квантунской армии, крепости-ансамбли в многочисленных сопках, скрытые отряды смертников, тяжелые, неуклюжие, крупнокалиберные мортиры,—все рушилось при столкновении с силой и умением советских войск. Наша отечественная техника не только разбивала узлы сопротивления, она сильно действовала на воображение японских солдат и офицеров, была по их упрямству, действовала отрезвляюще против их зазнайства и фанатизма.

Первый день войны на Дальнем Востоке подходил к концу. Криво-красное солнце медленно опускалось за тучи и пряталось где-то в боевом дыму соседнего с нами Забайкальского фронта.

10 августа. Ночь прошла в горячке. Небо полыхало заревом от оружейной пальбы и одиночных на пути войны пожаров. Утром хотелось скорее узнать содержание первой сводки информбюро. О нашем фронте было сказано весьма скупое: «В Приморье наши войска, сломив сильное сопротивление противника, прорвали железобетонную оборонительную полосу японцев и в течение дня 9-го августа продвинулись вперед до 14 км.»

Если бы не корреспонденции с места боев, то как бы мало мог знать наш заинтересованный читатель о том, что сейчас происходит и будет происходить на востоке.

Утро. Все новые и новые, но, кажется, похожие одна на другую, встают перед нами Маньчжурские сопки. Сопки Маньчжурские, а прозвища даны им русские: сопка продолговатая, расширенная и с подъемом в одном конце, называется «Гроб»; сопка с двумя горюшками рядом на хребте—«Верблюд».

Два десятка дотов воздвигли японцы на «Верблюде». Доты связаны подземными ходами. Справа и слева наши войска продвинулись вперед, а «Верблюд», оставаясь блокированным, уп-

прямо плует смертельно разящим свинцом. Против этой сопки несколько часов подряд изоощряются в хитрости и уловках пластуны и саперы офицера Ломанина. Батальон майора Глазунова бьется с засевшими в подземельях японцами. Нелегко дается «Верблюд», очень нелегко. Смельчаки-красноармейцы соображают, как бы дожидаться вечера и испробовать обложить амбразуры дотов мешками с песком. Заткнуть, а потом взорвать. Пока нет этой возможности, с соседних сопки хлещут «Верблюда» наши самоходные орудия. Черные клубы дыма стоят над злополучной сопкой. Веером от взрывов тяжелых снарядов взлетает земля и щебни скалистой породы. Нет, не весело японцам сидеть в «верблюжьей» утробе. Все реже и реже доносятся с вражеских точек ответные выстрелы...

Второй день войны, а я, как малоопытный корреспондент армейской прессы, не успеваю овладевать впечатлениями и фактами. Прежде всего, в героических эпизодах и в самих, следовательно, героях нет недостатка. На ходу, на скорую руку разговаривая то с одним, то с другим командиром, успеваю лишь коротенько записывать меня интересующее. Вот факты.

В рукопашной схватке с японцами младший сержант Голубев, будучи сам не легко ранен в плечо, убил трех самураев.

Ефрейтор Исаев, неподалеку от вражеской заставы, подбежал к дому, где засела группа японцев, бросил в окно противотанковую гранату. Японцы так густо сидели, что одним взрывом насмерть накрыло 15 самураев.

Красноармеец Бриль—из подразделения лейтенанта Максимова—в яростной схватке с самураями был ранен дважды в левую руку и в ногу. Бриль в таком состоянии наскоро перевязал себя, ползком добрался до вражеской огневой точки, метнул в амбразуру ручную гранату, уничтожил японский ручной пулемет системы «намбу» и убил пулеметчика...

Когда я эти и другие, подобные этим, заметки передал по телефону секретарю редакции, он мне ответил, кажется, с иронией:

— Товарищ... вряд ли из ваших корреспонденций что может получиться. Надо немножко подробней и поярче. Затем эти факты нам уже известны. Вы чуточку запоздали их сообщить. Еще: скажите, пожалуйста, можете или нет из этой части, как можно скорей, попасть в соединение Сиверса? Попытайтесь и свяжитесь с нами...

Я, конечно, обещал.

— ...И еще,—продолжал голос секретаря в телефонной трубке,—поинтересуйтесь партийной работой какого-либо подразделения в боевой обстановке. Материалы, заслуживающие внимания, не задерживайте. Понимаете, что такое газета?..

— Понимаю...

...Сегодня, впервые, на отвоеванной территории я увидел местное мирное население: В деревушке, возле разбитого шоссе, около полусоломенных, полуглиняных фанз стоят китайцы, оборванные, в широкополых шляпах, сплетенных из стеблей каких-то растений.

— Мы попали в «Соломенное царство»,—говорит в шутку какой-то боец. И это определение нищей, ограбленной Маньчжурии становится крылатым. «Соломенное царство», «Соломенное государство»—мне в течение одного дня пришлось слышать десятки раз. Первое, что бросается в глаза при виде местного населения,—это вопиющая бедность, забитость и многодетность. Последнее, конечно, неплохо. Живут они в тесных и неудобных домишках—фанзах, куда свободен доступ всем домашним животным и птицам. Несмотря на бедность и опустошенность, с нашим приходом китайцы стали выглядеть весело и приветливо. Война не страшит их. Они ждут от нашего вторжения в их страну законного облегчения в жизни. Вот они—старики, женщины и рабоче население—стоят возле шоссе в ветхих рубищах, у многих на руках красные повязки; некоторые держат маленькие красные флажки, другие, вытянув большой палец правой руки, любуясь и дивясь на бесконечный поток нашей военной техники, кричат:

— Шибко шанго...

— Япона шибко пылоха...

— Понятно, теперь плохо японцам. Но будет еще хуже, если они не догадаются скоро капитулировать,—разъясняют китайцам наши бойцы.

На пути нашего продвижения китайцы уже осведомлены, что у русских есть «Катюша», посылающая на японцев огненный дождь и град осколков.

«Катюша» их интересуется со всех сторон,—и как она выглядит и как она стреляет?..

В населенном пункте справа от станции Пограничной вчера выбыла из строя 152-миллиметровая самоходная пушка. Что-то стряслось с мотором. Водитель машины и артиллеристы, открыв люки, вылезли и стали исправлять повреждение. Пользуясь вынужденной остановкой самодвижущегося орудия, китайцы отовсюду сбегались поглазеть на русскую диковину. Многие думали, что это и есть та самая сказочная «Катюса». Собралось их вокруг пушки не менее двухсот человек. И глядят ее, и по стальным стенкам стучат, а ребятишки, осмелев, заглядывают в люки, лезут под низ и, ложась на спину, высматривают брюхо «самоходки». Наконец, повреждение исправлено. Мотор заведен, надо рвануть с места, а густая толпа, несмотря на предупреждения, не отходит.

— А ну-ка, я их попрошу,—говорит наводчик, веселый парень,—может они меня послушают.

И, повернув ствол орудия в направлении отступающих японцев, неожиданно произвел оглушительный выстрел. В ближних фанзах зазвенели стекла. Китайцы, после минутного оцепенения, испуганно закричали что-то и бросились в рассыпную во все стороны.

Мотор взревел сильнее, показался синий дымок. Загремели широкие, зубчатые гусеницы. Пушка полным ходом пошла вдоль селения догонять своих боевых соратниц.

Пришедшие в себя китайцы смеялись и махали руками вслед нашим артиллеристам...

Второй день войны клонился к вечеру. В Чапаевскую дивизию Сиверса попасть трудно. Она где-то дерется под Мулиным. Заметка о парторботе в боевой обстановке не наклеивается.

Сажусь на первый попутный «виллис» и—вдогонку за наступающими. Проезжаю километров 8—10. Наши пехотные части к ночи расположились на поляне. Остановка.

Густая и высокая растительность, похожая на камыш, скрывает то там, то тут боевые группы.

Впереди стрельба. Наступление идет своим чередом. Стемнело. Только зарницы от активной перестрелки артиллерии и особый свет красноречивых гвардейских минометов освещали незнакомую местность. В копах запашистого сена дремали уставшие бойцы. Я, облокотясь на автомат, прилег и заснул.

Я спал, но слышал все, что происходит вокруг. Вот слышу и различаю звуки, как кто-то старательно штыком ковыряет консервную банку, кто-то шуршит, зарываясь в сено, кто-то у кого-то просит зажигалку. Не слышно лишь звонких голосов кузнечиков и жаб, они что-то в эти ночи присмирели. В подразделение командира Замятина пришел представитель из политотдела дивизии и потревожил парторга роты:

— Надобно на коротке поговорить с коммунистами, как они воевали за эти два дня, как выполняли ведущую роль большевиков в боевой обстановке...

Для меня это—хлеб. Поднимаюсь, иду с группой бойцов-коммунистов послушать, о чем будет речь. Сомкнулись в небольшой кружок человек 25—30. В полутьме их не сочтешь. Лиц не видно. Мрачные, молчаливые силуэты. Партгруппорг перекаликает всех по фамилиям. Отсутствует по уважительной причине 8 человек. Из них 2 убитых, 4 ранены и эвакуированы в госпиталь, 2 в наряде, в боевом охранении...

— Начнем, товарищи?

— Начнем,—глухо отвечают голоса,—только, пожалуйста, по-

короче, как бы выкроить время для отдыха. И собрание длилось не более получаса. Краткость была помножена на конкретность. Поставив вопрос о передовой роли коммунистов в боевой обстановке, парторг роты попросил высказываться. Жаль, нельзя было в темноте записывать все то, о чем говорилось, но я постарался запомнить и записать на другой день, поелику возможно.

Вот коммунисты Опара и Денисов; о них комроты сказал, что они, прибыв с Западного фронта, не разучились воевать. При наступлении первыми ворвались во вражеские траншеи, увлекли за собой других бойцов и в схватке сумели заколоть четырех самураев.

Вот красноармейцы—коммунисты Баландин и Сморчков с ножками в руках подползли к японскому сторожевому посту, буквально срезали двух японцев и обеспечили роте внезапность нападения, стало быть, сократили число жертв в наших рядах.

— Коммунисты были первыми в бою,—подтвердил парторг,—но вот товарищ Лошкарев оказался не на высоте положения: у него в отделении один боец, не нюхавший пороха на германском фронте, первоначально струхнул и стал отставать и отстал от наступающей роты на... три километра. Товарищ Лошкарев, куда это годится?

— У него на ногах оказалась потертость,—попробовал объяснить Лошкарев.

— Тем хуже. Трусость или потертость мы разбирать сейчас не будем, а чтобы больше, к стыду нашему, в роте таких вещей не было...

Говорили еще о боевых листках, которых в роте за два дня оказалось выпущено восемь, причем пять из них сумел организовать и выпустить сержант Ярцев. Это похвально. Но еще похвальнее то, что Ярцев у нас отличный пулеметчик. Разве мало он накромшил японцев у той сопки?

И еще говорили о необходимости специализироваться на ночных боях. Тактика японских диверсионных групп и одиночек-смертников заставляет быть осторожными и изворотливыми в этой обстановке. Намечая задачи на завтра, парторг говорил:

— Давайте делать так, товарищи,—внезапность, решительность, быстрота действий и к этому тщательная подготовка—залог наших успехов; больше места личной боевой инициативе, особенно, когда управление боем, по какой-либо причине, затруднено. Тут, товарищи, расчет на вашу сметку и смелость...

После трехминутного слова представителя политотдела дивизии группа снова вернулась к обмятым копнам, и уставшие бойцы под надежной охраной своих верных товарищей погрузились в крепкий сон.

11 августа. Очевидно, война с Японией не затянется. Пер-

вые удары наших войск по всему фронту вразумляюще действуют на японцев. В печати есть сообщение ТАСС о том, что вчера в Токио министр иностранных дел Того заявил нашему послу тов. Малику:

«Японское правительство готово принять условия декларации от 26 июля сего года, к которой присоединилось и Советское правительство»...

Конечно, Япония будет юлить, чтобы выиграть время, но судьба ее решена.

Замечательно то, что число жертв с нашей стороны в этой войне незначительно.

Бог войны—артиллерия всех видов—сохраняет нашу драгоценную живую силу, обеспечивает успех прорывов, ломает слабеющее с каждым днем сопротивление японцев.

Много пленных. Одним из них свойственно притворство, другие высоко держат нос, таят в себе надежды на мудрость императора, на пресветлую богиню Аматерасу.

И опять я слушаю, как переводчик Панфилов горячо беседует и заносит себе в записную книжку разговор с японским подполковником Айсо Масами. У подполковника черненькие европейские усики, свинцового цвета лицо и подслеповатые узкие глаза. Выпуклые желтые стекла очков как бы говорят о том, что многочисленные и сверхразнообразные иероглифы ему дались не даром. Впрочем, очки—первейшая необходимость большинства японских офицеров. А подполковник, слава японскому богу, служит своему императору 17 лет. За этот срок службы он не обделен наградами: 10 орденов. Среди них ордена: Священного Сокровища, Восходящего Солнца, Маньчжурский орден и другие. Он не говорит, а лебезит. В искренность его слов никто из наших товарищей не верит.

— Я не самурай. Я из крестьян,—говорит он и жестами показывает, как он может мотыгой обрабатывать поля. Я здесь в армии был ошибка. Я социалист... (во, куда махнул!) Китай народ, Нипоно-Японо народ, братья... Русс сильный... Моя война Русс не надо...

Опрашиваем другого пленного. Офицер, но чином пониже. Предварительно обыскали. За голенищем желтого сапога оказалось припрятанное японское знамя, шелковое. На белом фоне красный диск солнца. Вокруг солнца тушью отмечены имена смертников.

Этот молодой, но, видать, кое-что смыслящий японец в беседе с переводчиком оханивает всячески и поносит Гитлера, обзывает его русским словом «дурак» за то, что не подумал о своевременной капитуляции. Вот другое дело—их микадо. Он не будет зря губить японский народ, примет условия капитуляции, сохранит

за собой престол, продолжит святейший род своей императорской династии. А там, лет через 50—100, глядишь, богиня повернется лицом к Японии, и страна богов восторжествует...

Наши многочисленные авиасоединения на приличной высоте проносятся над нами. Бомбят, штурмуют самураев на путях их отступления в сторону Муданьцзяна и Нингута.

Вечером ездил на посадочную площадку. Имел коротенькое интервью с летчиком—мастером воздушной разведки, товарищем Щетинковым. На его чудесной, весьма живучей машине 72 пробоины! Мотор в исправности. Летчик цел и невредим. По его словам, японцы не просто отступают, а обращены в массовое бегство и с грехом пополам прикрывают себя сопротивлением арьергардов. Вся дорога от Муданьцзяна до Нингута превращена в кладбище японских колонн и эшелонов, их техники и предметов снабжения. Пробовали они сунуться с Муданьцзяна на Харбин, но и тут наши летчики разбили и сожгли четыре эшелона с грузом.

— Скажите, здесь летать не трудно?—спрашиваю летчика,— не приходилось объекты перепутывать?.. Летчик усмехается, не хвастаясь своим опытом, говорит:

— Конечно, здесь не то, что на Западе, потрудней. Тут через 20—30 километров другая погода. Здесь, скажем, солнечно, а там, за сопками, дождь. Осадков тут, черт ее знает, сколько. Опять же сопки, какие-то все одинаковые, будто сестры между собой родные, сверстницы да двойни. Все это затрудняет ориентацию. Однако в моей работе недоразумений нет и, надеюсь, не будет.

Изрядно покушав рисовой каши с коровьим маслом и выпив пару стаканов сладкого чая, Щетинков идет на отдых под крыло своей изворотливой и могучей птицы.

Там же остаюсь и я до следующего утра.

12—13 августа. События развертываются, как говорят, калейдоскопически.

Наступление наших войск идет полным ходом. Много достается трофеев: склады с продовольствием, обмундированием, винтовки, пулеметы, пушки.

Судя по темпам нашего наступления, мы рассчитываем, что Маньчжурия может быть очищена от японцев за каких-нибудь 10—15 дней. И это, несмотря на сопротивление отчаявшегося врага, несмотря на горные кручи и тайгу. Русские войска научились все преодолевать. Люди презирают смерть. Есть случаи героического самопожертвования. Так, не щадя своей жизни, но чтобы сохранить жизни боевых товарищей, во время боя в одной из узких ложинок красноармеец Попов подполз к японскому доту. Двумя гранатами он не мог заглушить вражеский пулемет.

(В доте, как потом оказалось, для японца-пулеметчика было еще специальное укрытие от разрыва гранат). Тогда Попов, будучи ранен, собравшись с последними силами, в тот момент, когда пулемет врага на минуту замолк,—ринулся в пасть амбразуры дота и заслонил ее своим телом. Наверяд ли он думал о своей смерти, сохраняя ценой своей жизни жизнь боевых товарищей. Увидев героическое самопожертвование красноармейца Попова, бойцы бросились к доту. Уничтожив сопротивлявшихся, двинулись дальше.

Подобный факт самопожертвования был отмечен еще на другом участке Первого Дальневосточного фронта.

Никогда не забудут боевые товарищи имя славного сапера Колесника Василия, харьковчанина, родом из села Борового.

Фронтовой поэт Павел Шубин сложил о нем стихи:

...Когда-нибудь сложатся песни  
Про этот изрытый бугор.  
Здесь бился с врагом Колесник,  
Не ведавший страха сапер.  
Вот здесь в августовской лазури,  
Земной красотой красив,  
Он, грудью припав к амбразуре,  
Японский огонь погасил...

Я вспомнил о сопке «Верблюда», блокированной нашими пехотными подразделениями майора Глазунова, артиллеристами-самоходчиками офицера Карташева и пластунами—Ломакина. Хотелось знать результат борьбы. На кратковременном привале, около разрушенных фанз, я сидел в плетеном кресле и обрабатывал заметки—телеграммы для армейской газеты.

Было жарко. Дорожная пыль вздымалась, крутилась, липла к мокрому от пота телу, просачивалась всюду. На «виллисе» подъехали двое. Автоматчик с полевой сумкой на боку сошел с заднего сидения машины и спросил, где находится штаб дивизии. Я показал в сторону ближней сопки, у подножия которой сгрудилось до пятнадцати автомашин разных марок. Боец, торопливо козырнув, бросился бежать к штабу. Спрашиваю шофера, откуда приехали?

— От «Верблюда»,—отвечает шофер и, не обращая на меня внимания, продолжает тряпкой смахивать пыль с машины.

— Вот как! Очень кстати. Хотел бы знать, какие там новости?

— «Верблюды» теперь не дышит.

— Подавили?

— А то как же, все доты до единого.

— Сдались японцы или пришлось добывать?

— Черта с два они сдадутся. Смертники. Всех пришлось переглушить.

— И вы участвовали?

— Нет, не особенно. Мое дело—куда пошлют, туда и еду.

— А все-таки, хоть бы что-нибудь рассказали о «Верблюде».

— Спрашивайте того, что с донесением убежал, он связной майора Глазунова. Он больше знает, а мне нечего рассказывать.

На фронте так бывает. Разные люди по-разному воспринимают происходящее. Одни много видят, много переживают, много знают, а рассказать им нечего, потому что не находят ничего примечательного, из ряда вон выходящего из того, что видели. Другие, наоборот—схватывают все до мелких подробностей, сдобривают домyslom и вымыслом, и получается такое словотворение, что сиди и, развесья уши, слушай без конца.

Боец, присланный от майора Глазунова с пакетом в штаб, быстро вернулся оттуда с пачкой газет.

— Эх, умыться бы сейчас! Товарищ капитан, не знаете ли, где тут раздобыть водички?

Я предложил ему полную литровую флягу—мой запас воды.

— Умывайтесь, но только потом расскажите, как вы там управлялись с «Верблюдом».

— Вот спасибо, товарищ капитан,—давай, шофер, умоемся. Обоим тут хватит.

Они бережно израсходовали воду и, кажется, не столько умылись, сколько превратили пыль в грязь на своих загоревших лицах и плотных шнях.

— А вы там были, товарищ капитан?

— Да, в первый день, когда осадили сопку, я там был, но только мимоходом.

— Глазунова и Меркулова знаете?

— Так, немножко...

— Вот они со своими солдатами «Верблюда» и обуздали...

Я попросил рассказать подробней.

— Отчего нельзя, можно. Нам теперь не к спеху. Пакет вручен.

Шофер, развернув газеты, прилег в траву, а боец, чернобрый крепкий парень-сибиряк, с нашивками за три ранения и с пыленными и выцветшими колодками на груди, обозначающими орден Славы и медали за оборону Сталинграда и взятие Кенгисберга, поведал мне следующие подробности:

— Ох уж этот чертов «Верблюд». Многими стальными и бетонными колпаками японцы его укрепили, а все-таки «Верблюд» не выстоял, свалился. Сильно нам помогли наши тяжелые «самоходки». Хлестали по амбразурам метко. А что «самоходки» не доделали, то саперы толom довершили. Да, товарищ капитан! Ведь сразу было взглянуть на ту сопочку—вся в зелени, тихая, благодатная, хоть курорт на ней устраивай. А как она

вскопошилась! Попробуй возьми ее голой человеческой силой, без техники да без умения. Тут они тебе хоть сто тысяч людей уложат. Не подступишься. Глубокие рвы, шесть рядов колючей проволоки на железных кольях. Все доты, как осиные гнезда, с умом свиты, с боков или с флангов не подступишься, снарядом не возьмешь. В лоб бить тоже нелегкое дело. Стенки дотов в полтора метра толщиной и будто врезанные в скалу. А сколько их—не сочтешь. Потом узнали: 620 квадратных метров крепостных сооружений на «Верблюде». Ну и дали им жару. Такой треск был, точно под Кенигсбергом. Вы там не были? Били, били—еще не все. Как пойдет наша пехота, так «Верблюд» снова оживает. Ночью ломакинские ребята ползали, вещевыми мешками с землей затыкали глотки дотов и таким же путем подтаскивали тол. Вот прикончили мы и пошли чистить подземные галлереи. Идем, а трупов не так много. Чуть побольше сотни. Одни свежие, а другие уже попахивают. Я нашел фотокарточку, в рамке висела в главном доте, где командный их пункт был. Пересчитали по карточке. Столько же, сколько и мертвецов,—сто одиннадцать! Мой начальник, майор Глазунов, взял это фото себе на память и наискось по всем японцам расписался—такого-то числа перебиты все...

— А где сейчас находятся ваши?

— Очищают там одно селение от засевших смертников,—ответил связной и, показав куда-то в сторону тыла, добавил:

— Наглецы, не силой—так хитростью хотят нам гадить. Зашли там в один дом наши бойцы, расселись, в доме—ни души. Только начали они закусывать, а в это время из-под нар два японца с ножами. Одного нашего насмерть, другого ранили тяжело. Ну и сами не ушли, тут и остались лежать посередь полу.

Бросив окурок, связной, обратясь к шоферу, сказал:

— Заводи, Курицын, да поедем...

Через минуту облако пыли скрыло их за поворотом дороги.

...По мере нашего продвижения вперед, местное мирное население все больше и больше привыкает к нам. Не веря распространенным японцами слухам о жестокости русских солдат, убедившись в обратном, китайцы тысячами выходят из таежных сопок. Все они оборванные, с мешками за спиной, у некоторых домашний скarb на тачках, у женщин за спиной—малые дети, чумазы, тощие, с перепуганными лицами.

Видя в русских войсках не насильников-завоевателей, а освободителей Маньчжурии от японского гнета, они быстро становятся приветливыми, обнаруживают неописуемую радость, торжествуют, машут красными флажками, слышится: «Россия шаго!» С восторгом произносится имя Сталина.

В жаркую, летнюю пору солдату дорога свежая, холодная вода. И китайцы знают это. Вдоль дороги по населенному пункту они стоят около бочек и кадешек, наполненных чистой холодной водой. Веерами отгоняют от питья сонмища мух; из деревянных самодельных ковшиков угощают томимых жаждой наших бойцов, наполняют водой солдатские флаги.

В одном месте жители зарезали кабана. Чтобы не обидеть китайцев, красноармейцы пробуют мясо, кланяются...

Судя по тому, как местное население нас встречает, во всем старается по мере своих сил нам помочь, мы чувствуем надежность нашего тыла на освобожденной от японцев территории. Одиночки и мелкие группы японских смертников, само собой разумеется, будут выловлены и уничтожены. В этом тоже сказывается помощь местного населения. Нередко китайцы приводят переодетых японцев, передают их нам:

— Япо́на-шпиона.

Китайцы распространяют и читают нарасхват наши листовки и сводки информбюро, отпечатанные на их языке.

Помогая нам, они правят шоссе́йные дороги, ремонтируют, перешивают рельсы железнодорожного полотна, ухаживают за нашими ранеными бойцами,—готовы сделать что угодно, лишь бы доказать делом полное расположение к нашим войскам. Те из них, которые мало-мальски владеют русским языком, много спрашивают о жизни в Советском Союзе, рассказывают о своей жизни, о своем бесправном положении при господстве самураев.

Живут они действительно крайне бедно. Захожу в одну фанзу. Сквозь узкие оконца с промасленной бумагой вместо стекол дневной свет проникает слабо; часть окон снаружи закрыта ставнями. Пол земляной. Потолок и крыша—из камыша, промазанного глиной, на манер юрты, крыша конусом сходится посредине, куда выходит изгибистый железный трубак от небольшой глиняной печки. В печку на вечные времена вмазан изрядной величины котел, покрытый деревянной круглой крышкой вроде днища от бочки. В щели крышки пробивается пар: что-то варится. Миллион мух кружит над приготавливаемой пищей. Мебели—никакой. Ее заменяют положенные вдоль стен брусья. Место для спанья—неуклюжие нары, частично покрытые соломенными циновками, частично—ветошью неизвестного происхождения. Нары обширны. На высоте полуторых метров от земли они занимают добрую половину фанзы, на них целый взвод можно разместить на ночлег. Но навряд ли кто из бойцов согласился бы на это, всякий предпочел бы спать на улице под плащпалаткой, нежели здесь в душной, неуютной фанзе. Право, у нас на Карельском

фронте и в Заполярье, на переднем крае обороны, землянки куда были чище и уютнее.

Посуда—крупная из серой глины, местами побитая и скрепленная по щелям примазанной тестом парусиной. В фанзе полно народу обоего пола и различного возраста, от старика без растительности на морщинистом желтом, испитом лице и до крохотного малыша, пузатенького мальчика на тонких, еле выдерживающих его, ножках.

В общем, людей тут десятка три, а то и больше. Посторонних никого, все свои, одна обычная китайская семья от мала до велика. Произвести бы семейный раздел? Да делить нечего. Земли мало, от дележа ее не прибудет, а имущества—кот заплакал. Так и живут в тесноте и в обиде, ожидая, когда вымрут те, что постарше, и освободят место тем, которые помоложе.

Когда мы вошли в фанзу, женщины, что помоложе, выбежали вон. Почему? Выяснили, что не страх их вытолкнул из жилья на короткое время нашего здесь присутствия. Они стеснялись своей бедности (хотя она и не порок!), своей забитости. Да и те, которые остались в фанзе, держались от нас сторонкой, одни сидели на брусках, другие, полулежа, молча наблюдали за нами с нар. Разве один только крохотный, маленький, с черными глазами китайчонок не робел и не чуждался нас, не стыдился нищеты и раньше других стал знакомиться с нами.

Перво-наперво он подошел ко мне и осторожно, одним пальчиком, потрогал автомат. Я взял малыша на колени, затем начал подкидывать вверх. Он весело заулыбался, замахал рученками. Домочадцам понравилось мое обращение с ребенком, усмешки озарили их лица. Они что-то залопотали. Как жаль, когда в таких случаях нехватает знания языка. Из полевой сумки я достал и подал малышу плитку пастилы. Догадливый малыш лизнул пастилу, пустил слюну и с жадностью стал жевать. Тогда говор домочадцев усилился. Я заметил их восхищение моей ничего не стоящей добротой...

Хозяин фанзы—глава семейства старик-китаец—позвал одну из женщин. Та, будто бы спохватившись, начала деревянной лопатой шевелить варево в котле. Вариво это оказалось пельменями. Я хотел уходить, но старик задержал меня, стал настойчиво угощать.

Потом с этим старым китайцем мы ходили в поле. Он показывал широкие полосы риса, возделанные их руками для японцев, и показывал узкие полоски чумизы и фасоли, обработанные теми же руками для самих себя. Китайцам и корейцам кушать рис было запрещено под страхом жестокого наказания. Надо отдать справедливость: китайцы—народ безукоризненной честности. Поля, огороды для себя и для насильников-японцев обработаны

идеально тщательно. Полосы поспевшего урожая совершенно чисты от бурьяна.

Какими же машинами они ведут обработку земли и посевов? — Моя машинка, нет машинка, япона нет машинка, — пояснил, как мог, китаец и, поняв мой вопрос, показал простейшие орудия производства: лопату, мотыгу, тяпку.

А топор? В хозяйстве это самая необходимая вещь. Но топор — такая редкость в бедном китайском селении, что он является иногда единственным на целую деревню, притом «общественным», прикованным на железную цепь к телеграфному столбу или к углу какой-либо фанзы.

Нам это показалось более чем странным и нелепым. Почему цивилизованная держава, дочь богов — Япония, взявшись устанавливать «новый порядок» в Азии, не обеспечила эксплуатируемых даже топорами? Старый единственный топорик прыгает на привязи в руках маньчжурского землероба, а другой сосед стоит и ждет, когда освободится его сиятельство — топор. Объяснение оказалось очень простым. Японцы боялись вооружать народ топорами. Топор может рубить не только дерево, но и шею самурая. А рубить есть за что. Несчастливым китайцам под страхом смерти запрещено было употребление мяса, запрещено пользоваться медицинской помощью, запрещено близко подходить к поселениям японцев... Ясно, что друг угнетенных — топор, должен быть прикован!..

Освобожденное население, радостно встречающее нас, своих избавителей, с приятным волнением обозревает рисовые плантации. Городская пища ныне (и пусть впредь!) будет принадлежать труженикам...

Некоторые из местных патриотов уходили в глубокое подполье, вооружались чем могли — становились партизанами. Японцы беспощадно расправлялись с ними, не останавливаясь ни перед какими зверствами. Вот перевод выдержки из приказа номер 213 военного министра Маньчжоу-Ди-Го:

...«Во время операций против хунхузов (китайских партизан патриотов) начальники частей собирают цифры якобы захваченных и расстрелянных и требуют установленной награды, а проверить эти цифры нельзя. Впредь, в случае расстрелов, предлагается отрезать у каждого убитого левое ухо и доставлять в штаб, как доказательство. Если стоит жаркая погода и хранение этих ушей затруднительно, то следует их прожаривать досуха в масле и тогда доставлять в штаб, как доказательство для получения награды»...

На каждом шагу мы обнаруживаем свирепую, вполне заслуженную ненависть местного населения к японцам. Сегодня наши бойцы отняли у трех китайцев до полусмерти забитого японского приказчика. Они избивали его железными тяпками за то, за что

несколько дней тому назад японцы избивали местных жителей. Этот японский приказчик, где-то скрываясь, имел при себе запас риса. Палка обернулась другим концом. На вопрос—за что избивали японца?—китайцы вывернули у приказчика карманы наизнанку и показали остатки рисовых зерен.

Мстители недоуменно развели руками и сделали удивленные физиономии, увидев, что русские бойцы не позволяют избивать пленного...

Когда я записывал в дневник последние строки, ко мне подошел вестовой из политотдела дивизии и сказал:

— Меня послал подполковник передать вам, что есть попутная машина, идет в дивизию генерала Сиверса.

Я торопливо пошел за вестовым. Пусть корреспонденции останутся недоработанными, надо ехать...

14 августа. Идут бои за Муданьцзян. Наши передовые части уже хлещут японцев в городе. Передовые части той самой дивизии, организатором которой был легендарный Чапаев!..

Встретиться и побеседовать с комдивом генерал-майором Сиверсом мне не удалось. Сиверс метеором мечется на легковой машине, успевая везде и всюду. О первых боевых днях Чапаевской дивизии на здешнем фронте я слушал рассказы офицеров, урывая у них свободные минуты, где только придется.

Начиная с 9-го августа, эта дивизия совершила трудный переход, отбрасывая японцев в глубь Маньчжурии. С боями она вышла на рубеж реки Шитоухэ по прямой линии от исходного пункта нашей границы. Тайга, непроходимые болота, затем «сопка на сопке, да сопка сверху»,—как говорят бойцы,—при полной бездорожье,—таков путь наступления. Японцы никак не ожидали, что русские войска, да еще с техникой, могут отсюда двигаться на шоссе, ведущее от Чанчулина на Мулин. Наступление советских войск здесь, по весьма трудно проходимой местности, для противника оказалось внезапным. А когда передовые отряды дивизии появились на коммуникации, тогда наступление в сторону Мулина развернулось стремительными темпами.

Японцы в Мулине пытались оказать сопротивление, но, видя нашу мощь, ломающую все преграды, и чувствуя безвыходность своего положения, бросились отступать на Муданьцзян, но опоздали. В их тылу внезапно оказались наши танки и самоходные пушки. Они ударили по отступающим самураям. Недолго пришлось японцам метаться, часть Мулинского гарнизона была перехвачена и перебита, часть предпочла сдаться в плен. С 12 августа дивизия сосредоточилась в районе Мулина и устремилась на более крупный город—Муданьцзян. Тактика врага на этих боевых участках не была новой. Передовые мелкие отряды наших бойцов проходили вперед, не встречая особого сопротивле-

ния. Но когда начинали продвигаться колонны наших основных войск, отовсюду из засад: с вершин сопок, из придорожных кустов и зарослей группы японских смертников обрушивались, нанося некоторый урон нашим наступающим частям. Смертники старались вывести из строя командиров подразделений, чтобы расстроить и затормозить дальнейший ход наших наступательных операций.

Но боевые чапаевцы не терялись. В каждом случае вылазки смертники находили немедленный и жестокий отпор. Наши храбрецы не останавливались перед рукопашными схватками, истребляли всеми способами засевших коварных самураев...

Однажды позади офицера Смирнова в высокой траве оказался притаившийся японский солдат, вооруженный кинжалом. Он лежал, выбирая себе жертву из наших командиров. Смирнов, услышав шорох, быстро обернулся. Японец с криком бросился на него. Смирнов вскинул автомат, но выстрела не получилось. Только самообладание спасло офицера. Он с силой бросил оружие в лицо японца, оглушил его, а затем схватил за горло и задушил...

Факты находчивости и героизма в дивизии генерала Сиверса встречаются нередко. Вот сегодня, при форсировании реки на подступах к Муданьцзяну, отличился украинский хлопец—сержант Шевченко. Он один из первых перебрался на другой берег и, умело маскируясь, уничтожил восемь японских солдат...

Само по себе форсирование реки, где мосты были взорваны японцами, явилось нелегким делом. Дивизия не имела средств для переправы. Находчивые бойцы стали подрубать телеграфные столбы и сооружать из них плоты. Но одних плотов для переправы недостаточно. Кто-то из командования внимательно осмотрел подорванный железнодорожный мост. Второпях японцы успели разрушить только один средний пролет, как раз против более глубокого и быстротечного русла реки. Зияющий пролет оказалось под силу исправить, навести временный деревянный настил, способный пропустить по мосту нашу наступающую пехоту.

— Товарищи, в свое время Суворов не такие препятствия преодолевал. Вспомните, как наши предки в Альпах Чертов мост строили! А мы чем хуже наших прадедов?.. Построим!..

Нашлись плотники-специалисты, нашлись вологодские и архангельские сплавщики и сплотчики, для которых река Муданьцзян, по сравнению с Северной Двиной, казалась кроткой и отнюдь не такой уже страшной, если бы не обстрел. Но и обстрел со стороны японцев стал не так интенсивен после того, как «кяюши» и самоходки «прочесали» подступы к городу. Переправившиеся за реку на плотках первые группы захвата заняли

и другой конец моста. Время было позднее. Заполнить на мосту брешь перекладинами и настилами в ночное время без освещения было невозможно. Освещение же выдало бы японцам наши намерения и затруднило бы переправу.

К ночи с обоих концов моста выставили надежных часовых-автоматчиков. Красноармеец Фунтиков стоял на левом берегу реки в густой траве у прилеска. Высокая трава и мелкий колючий кустарник чуть-чуть шевелились от легкого ветра. Под шум реки, при таком колыхании густых зеленых зарослей смелому и ловкому лазутчику не трудно добраться до часового. Автоматчик Фунтиков правильно оценил значение своего поста, обдумал, как бы он, будучи на месте противника, поступил, если б ему поручили снять часового и произвести диверсию. И вот он услышал шорох и колыханье кустарника. Наугад произвел короткую очередь. В кустах кто-то простонал и притих. В ту же минуту сзади на Фунтикова наскочил японец и ударом ножа ранил его в спину, затем побежал на мост, но, очевидно, не видя своего напарника, спрыгнул в воду и намеревался возле берега по течению отплыть далеко в сторону, чтобы спастись, поскольку диверсия не удалась. Раненый Фунтиков, по всплескам воды, в сторону плывущего японца дал еще очередь из автомата. Тут подоспели бойцы, и японца, пытавшегося выбраться на берег и бежать, задержали. Другой диверсант лежал убитый в кустах. При нем обнаружили увесистый заряд тола...

Утром бойцы сращивали проволокой столбы и перекидывали над взорванным пролетом. Скоро по зыбкому настилу пошла пехота...

15—16 августа. Город Муданьцзян, раскинутый широко промеж сопок в низине, состоит из смешанных, непривлекательных построек. Любопытному взору остановиться не на чем. Люди живут трудом в личном хозяйстве и на мелких предприятиях. Многие перебиваются торговлишкой. Базар—сердце города. Сюда стекаются и ради желудка и ради наживы. Много торговцев, но еще больше ремесленников. Вывески без конца. На вывесках—непонятные иероглифы и выразительные изображения часов, сапог, тувель, посуды, ножиц, швейных машин и всякой бытовой мелочи.

Муданьцзян—административный центр провинции Дуньмань; железнодорожный узел на пути Харбин—Пограничная и порт Сейсин-Цзямусы; крупная база Квантунской армии японцев, узел сопротивления с множеством укреплений, с аэродромом и посадочной площадкой. Городу причинены некоторые разрушения. Кое-где дымят пожары—неизбежные спутники боевых действий. Город считается занятым. Наши передовые части, вышвырнув японцев, преследуют их в различных направлениях. Между тем,

в занятом городе, вчера к вечеру было притихшем, нет-нет да и зачастит то ружейная, то пулеметная пальба. И тут смертники, сеющие смерть и находящие себе гибель.

Ночь я провел беспокойно в казарме, где сутки тому назад размещались японцы. Казарма огромная, в один-два этажа, на окраине города. Она досталась нам целой и даже не заминированной. Очевидно, японцам пришлось торопиться.

Утром, подкрепившись галетами, пошел искать политотдел дивизии, чтобы узнать радионовости.

Наступление, как видно из свежей информационной сводки, успешно продолжается. В «километраже» преуспевает Забайкальский фронт, там войска проходят по Маньчжурии 100—150 километров в сутки. Армии маршала Мерецкова в более трудных условиях пересеченной и укрепленной местности двигаются также неудержимо на Харбин и к границам Кореи. Много пленных. Они выглядят уныло, мрачно, чувствуют себя потерявшими надежды. Они еще не знают, что вчера их император через швейцарское правительство послал заявление правительствам Америки, Англии, Советского Союза и Китая о готовности прекратить сопротивление.

Заявление—заявлением, а бои пока не утихают. Колонны автомашин возвращаются с мест боев, везут раненых, везут трофейное оружие. Кстати, в районе города Муданьцзян, на его окраинах и дорогах в направлении к Харбину японцы под ударами наших войск побросали оружия не мало. Каких только видов не встречается техника!

Орудия различных калибров, начиная с образцов 1905 года и кончая увесистыми тупорылыми мортирами выпуска последних лет. Есть гаубицы 240-миллиметровые весом до 45 тонн. Есть дальнобойные орудия, бросающие (вернее бросавшие) 40-килограммовые снаряды за 25 километров, стволы таких орудий размещены на специальных тележках, отдельно от лафета. Есть противотанковые пушки, способные пробивать броню десятисантиметровой толщины, тут же валяются искромсанные тонкоствольные зенитки кругового обстрела. По ним метко ударила наша авиация. Танки и танкетки у японцев в основном состоят из трех типов и, в сравнении с нашей техникой подобного рода, выглядят не внушительно. Вот танкетка, на ней один пулемет. Эта небольшая бронированная черепаха подбита двумя выстрелами из нашего противотанкового ружья. Рядом с ней сунулся, зарывшись передком в землю, десятитонный легкий танк. Нутро у него разворочено, оба пулемета разбиты вдребезги.

Средний японский танк обычного типа весит немного более пятнадцати тонн. Скорость его достигает 45 километров в час. Тем не менее, многие машины остались брошенными в нетрону-

том состоянии. Из башен торчат одинокие короткоствольные пушки, из амбразур выглядывают стволы двух пулеметов. На некоторых танках и пушках, на целых и с пробойнами, уже чьей-то заботливой рукой мелом выведены слова: «В Москву, на трофейную выставку». Вероятно, я их встречу потом в Москве. Там посмотрю, а сейчас разглядывать в подробностях технику врага некогда.

...Возвращаюсь в Муданьцзян. Жители в это время, как тараканы из щелей, откуда-то выбрались и запрудили улицы. Многие тащат тяжелые ноши скарба. Среди китайцев и других народностей встречаются русские лица. Слышится русская речь. Это белоэмигранты, чаще—их потомки, народившиеся здесь, в Маньчжурии.

17 августа. Ночь провел в той же Муданьцзянской казарме более спокойно, чем вчера. Утром сходил на полевую почту. Отнес письмо, получил резкую телеграмму: «Срочно, телеграфно, любой оказией сообщайте материалы фактах мужества наших бойцов запятая зверствах японцев».

Из новостей—ничего особенного. Заявление императора Японии пока остается на бумаге. Обещанная капитуляция не проводится. Микадо хочет выиграть время, на что-то надеется. Возможно, на недоразумения между союзниками, возможно, на божественный тайфун или нечто подобное.

Сегодня по радио есть разъяснение Генерального штаба Красной Армии о капитуляции Японии. Передавали, что действительную капитуляцию вооруженных сил Японии нет, что капитуляцию можно считать с того момента, когда японским императором будет дан приказ своим вооруженным силам прекратить боевые действия и сложить оружие и когда этот приказ практически будет выполняться...

В ожидании товарищей, собирающихся ехать к переднему краю наступающего фронта, решил наконец написать письмо домой—жене и сыну.

«...Милая, дорогая женушка и сверхлюбимец сынок! Давно вам не писал. Все было некогда. Прошу прощения. И от вас тоже писем нет. Возможно, они и есть в старый адрес на полевую почту 82643-Д, а сейчас у меня адрес временно другой. Пишу я вам с далеких Маньчжурских полей и даже не с полей (это для красного словца), а из города Муданьцзяна, откуда сейчас собираюсь поехать вслед за боями в сторону Харбина. Война идет своим чередом и, судя по всему ходу событий, должна в скором времени закончиться нашей победой и, если не полным разгромом, то безоговорочной капитуляцией Японии. Пишу вам это письмо в 8 часов утра. Яркоеоранжевое солнце высоко поднялось над ды-

мящимся городом. А у вас там, в Архангельске, время чуть перевалило за полночь: Прослушав последние известия по радио, вы, наверно, в сию минуту собираетесь ложиться спать. Третья часть суток и более 10.000 километров разделяют меня с вами. Но всегда и везде я помню о вас, люблю вас и живу надеждой на скорую встречу. Что вам написать? О себе: жив, здоров, сыт, обут, одет, бодрости хватает. А вообще могу написать, что обстановка здесь своеобразная. Японцы не так сильны, как вредны. Пока у них сила—они способны на грабежи, насилия и зверства, и на любые коварные проделки. Лишь только стоит сбить с них спесь (а этому мы, слава богу, научились неплохо), они сразу становятся покладистыми. В здешних местах, где они многие годы господствовали, китайское население не мало терпело от них всяческих обид.

Пришлось мне быть в деревушке Шинхуа. Земля здесь превосходная. Урожай хороший,—нынче принадлежит китайцам, работавшим в поле. А до нашего прихода сюда было так: местное население работало на японцев, голодало и пухло от голода. Японцы с вышек наблюдали, как работают китайцы, и если им казалось, что плохо, то избивали бедных тружеников. Заколет китаец поросенка, а японец тут как тут, отрежет ноги, голову поросенку, вывалит из туши требуху, все это милостиво отдаст хозяину, а тушу забирает себе. По «милости» японцев китайское население здесь—босое, нагое и полуголодное. Бесправье хуже, чем было при крепостном праве у нас в России.

В деревне Шинхуа был японский гарнизон. Это почище и посвирепее аракчеевщины. В трех приличных домах, обнесенных каменной стеной с амбразурами, помещались покорители Маньчжурии. Японцы выгоняли китайцев на оборонительные работы. Причем, если работы эти носили строго секретный характер, самураи не останавливались перед уничтожением исполнителей. В зверских повадках они подчас не уступают фрицам: на одном из участков нашего Первого Дальневосточного фронта, около поселка Малый Хунаган, японцы захватили в плен тяжело раненого сержанта-комсомольца Дмитрия Калинина. Когда наши бойцы разгромили японский гарнизон, то обнаружили труп сержанта Калинина. Установлено, что японцы применяли нечеловеческие пытки. Одна нога у него отрублена. На теле вырезан треугольник, глаза выколоты, ноздри разорваны, череп скальпирован, а нижняя часть тела изрезана ножами и опалена на костре... Спешу закончить письмо, так как за мной пришел товарищ. Сейчас выеду из Муданьцзяна. Прошу прощения, если произойдет задержка писем. Право, писать-то некогда. Вероятно, когда попадет вам в руки это письмо, мы заставим Японию перестать быть

агрессором. Дело к тому идет. Силенка у нас здесь приличная. У самураев от страха и дива глаза на лоб лезут.

Поклон вам с приветом! Целую...»

\* \* \*

Днем на тупорылой трофейной машине выехали из города. Миновали заводские пригороды. Машина вырвалась на ровное шоссе, по сторонам которого то там, то тут лежали подбитые танки, повозки, грузовики и легковики с газогенераторами, разбитые пушки. Обычная дорога войны.

В машине несколько офицеров. Знакомиться некогда. Молча выглядываем из-под брезента, смотрим на окрестности.

— Здесь проходила наша Чапаевская дивизия, — не без гордости говорит один из офицеров в звании капитана, — она одна из первых Муданьцзян прошла и дальше впереди всех идет на Харбин.

— А как насчет потерь?

— Не без того. Главным образом, дорого обошлось коварство японцев, их своеобразные методы борьбы...

Об этих коварных методах приходилось уже слышать не раз.

И вот снова приехав в дивизию, преследовавшую японцев километрах в шестидесяти за Муданьцзяном, я попал на небольшое совещание командного состава. Совещанием руководил полковник, усталый, задумчивый, не желавший говорить сам. Он не спрашивал участников совещания, боевых товарищей, кто из них хочет или не хочет говорить, а просто называл по очереди их фамилии и предлагал вопросы.

Если обобщать все сказанное на этом кратком совещании, то станет ясным, что враг, несмотря на вероломные увертки в сторону капитуляции, продолжает начатую им тактику, требующую максимальной бдительности наших бойцов и командиров.

Мелкие замаскированные отряды смертников остаются в наших тылах, тогда как основные силы японских войск, разрезанных по частям, отступают в глубь Маньчжурии к корейской и китайской границам.

Смертники причиняют немало хлопот. Действуют они скрытно. В городах и селениях им способствуют узкие лабиринты улиц и тупиков. Днем они, переодетые в штатское, безобидно разгуливают с красными нашивками на рукавах, приветливо улыбаются, а ночью нападают на одиночек — наших бойцов и офицеров. Тут основное оружие против самураев — бдительность. Есть примеры, достойные подражания. Вот офицер Пальгунов с двумя бойцами заметил группу китайцев. Подошли ближе. Китайцы вежливо раскланялись. Один из них заговорил уродливо на рус-

ском языке: остальные пять, как по команде, встали полукругом, держа руки в карманах.

— А, ну, ребята, наведите на них автоматы. Я их пощупаю...

Тот, который пытался заговорить, бросился бежать, но споткнулся от наступившей пули. Пятеро переодетых самураев, побросав кинжалы, сдались.

Лейтенант Зарянин, патрулируя в тылах со своими бойцами, выловил 18 японских смертников.

Заслуживает внимания один эпизод борьбы с японскими смертниками: командир кавалерийского подразделения лейтенант Тайшихин, ловкий джигит, выловил на пасеке несколько притаившихся смертников и в единоборстве с японским майором снес ему клинком череп.

Я написал об этом отряде кавалеристов рассказ и предлагаю его вниманию читателей.

### 30. НА СОПКАХ МАНЬЧЖУРИИ

(Рассказ-быль)

Склоны маньчжурских сопок богаты медоносными растениями. Японские поселенцы развели пасеки. Пчелам и пчеловодам работы здесь непочатый край. Сотни крашенных ульев, расставленных у подножья горы правильными линиями в несколько рядов, напоминают собою аккуратные поселения. Пчелы, любящие свое дело, гармоничность жилья, прекрасно готовящие себе и людям лакомство, пожалуй, не стерпели бы плохих условий жизни и перекочевали бы в тайгу, подальше от корыстных людей, где, разве нечаянно, мог набрести на их становище лохматый медведь, охочий до медовой закуски.

На пути от Мулина к Муданьцзяну, на одной из пасек, утопающей в цветной зелени, среди дикого виноградника и узкополосных полей, засеянных кукурузой, подсолнухами, чумизой и другими растениями, притаились японские смертники. Число их пока не было установлено точно. Но известно, что каждую ночь они небольшими группами, по два-три человека, выходили на дорогу, стреляли из засад, бросали в проезжие автомашины гранаты, а иногда с криками «банзай» кидались, как собаки, на советских солдат и офицеров. И что плохо,—смертники нередко уходили безнаказанно; уходили не так далеко, прятались, словно под землей, в районе пасеки. Сюда и было послано небольшое кавалерийское подразделение лейтенанта Тайшихина.

Родом Тайшихин из Бурят-Монголии. Лошадей он любил с детства. Семилетним малышом на пастбище среди других ребятшек Кешка Тайшихин считался лучшим, смелым наездником.

Потому, когда попал на службу в Красную Армию, он избрал себе род войск—кавалерию.

Кавалерийский отряд лейтенанта Тайшихина был направлен в тот район, где на шоссе, вблизи пасеки, по ночам появлялись японские смертники. Но как их обнаружить?—ведь они одеты не по форме; как их изловить или перебить без промаха в ночное время?

Тайшихин над этими вопросами задумывался и собирал все отрывочные сведения о наличии и месте расположения самураев в наших тылах, на коммуникации.

Он не спешил, но и не медлил.

В его отряде было всего восемнадцать бойцов, столько же лошадей, клинков и автоматов. Люди—не автоматы, не все одинаковы; даже в автоматах, в их исправности и то бывает разница. А один боец из восемнадцати, по мнению Тайшихина, был трусоват; не только боялся попасть под пули, но и сам боялся убивать. Потому и использовал его лейтенант больше для хозяйственных надобностей. Однако и его надо было приучить к делу, чтобы ребята над его слабостью не подшучивали и, вообще, чтоб он тоже был в их числе боевой единицей. Звали того бойца Ключаев.

Однажды, когда план операции стал созреть в голове Тайшихина, и люди, и кони, и оружие—все было в полной боевой готовности к вылазке на пасеку, Тайшихин спрашивает Ключаева:

— Мед любишь?

— Люблю.

— А доставать из ульев умеешь?

— Нет, этого не могу. Пожалуй, пчелы закусуют.

— Ну, так вот тебе четыреста гоби<sup>1</sup>, бери за спину термос и верхом, при полном вооружении, поезжай на пасеку. Купи там полный термос меду, да не торопись обратно уезжать: приглядишься, нет ли там подозрительных людишек. Посчитай их про себя, в уме. Да вот еще: поедешь туда, следи за поведением коня: если он начнет ушами спрядывать, настораживаться, значит тут поблизости в кустах или в траве есть смертники, так ты автомат держи наготове и клинок...

Не очень-то улыбалась Ключаеву, такая поездка, хотя и недалеко ехать, а не безопасно. Отказываться?—товарищи насмех поднимут, да как еще и Тайшихину это покажется, того и гляди влепит взыскание. Однако Ключаев закинул словцо:

— Товарищ лейтенант, нельзя ли кого другого за медом? У моего Вихря чего-то задняя левая нога засеклась.

<sup>1</sup> Или сто рублей в переводе на наши деньги.

— Ничего, ничего, поезжай...

Пришлось собираться.

Пока Ключаев промывает термос, седлает лошадь и пока едет за медом на пасеку, мы посмотрим, что намеревается делать лейтенант Тайшихин.

Он собирает в кружок весь свой небольшой отряд и говорит:

— Ребята, сегодня за два часа до солнечного заката возможно кого-нибудь из нас не окажется в живых. Ничего не попишешь—война... Будем осторожны, но смелы и решительны...

Кавалеристы приготовились слушать боевое задание. Сидят, переглядываясь, на примятой траве, не улыбаются; каждого такое вступление командира заставило призадуматься.

Тихо. Слышно, как легкий ветерок перебирает листья травы, даже слышно, как на матерой руке сержанта Колосова тикают крохотные часики. Молча, не каркая, пролетают над группой бойцов два сытых ворона, их крылья от солнечного блеска кажутся немного переливчато-сизыми. Проводив глазами зловещих птиц, Тайшихин продолжал:

— Мое разумеенье такое: не знаю, что расскажет нам по возвращении Ключаев, кого он там приметит, но я думаю—смертники обязательно сегодня найдутся около пасеки, а к ночи с пасеки выйдут на дорогу охотиться на наших людей. Сегодня этим самураям должен быть конец. Все мы туда не бросимся. Восемь человек во главе с Колосовым оставляю курсировать по шоссе, девять, я десятый—прочешем склоны сопки и выберемся к пасеке. Коли завяжется схватка и японцев окажется много, кто-нибудь из моих проскачет за помощью к Колосову. Тогда уж вы нас выручайте. Действовать нужно как? Обнаружил смертника—прикончи!.. Ну вот, приготовьтесь и ждите моего приказания...

Прошел час. Пошел второй. Посланный за медом и попутно в разведку Ключаев не возвращается.

Тайшихин начал было проявлять беспокойство.

— Черт его побери. Жалею, что одного направил. Чего доброго, японцы бесшумно снимут его с седла—и поминай как звали.

Только он успел это сказать, послышался глухой выстрел, затем еще несколько. «Мало ли кто стреляет—время военное,—подумал Тайшихин, успокаивая себя.—Не обязательно же по Ключаеву лупят, а если по нему, так чего особенного? Но почему он из автомата не отвечает?» Подумал одно, сказал другое:

— Какой здесь воздух чистый. По-моему—эти выстрелы километра за три отсюда, не менее, а слышно, будто рядом.

— Пожалуй,—лениво согласился кто-то из ребят и, звеня шпорами, пошел к коню, стоявшему на привязи в тени под дикой яблоней, с которой свисало столько же мелких красноватых яб-

лок, сколько бледнозеленых листьев, покрытых придорожной пылью и потому не имевших естественного блеска.

— А может еще чайку успеем попить? Солнце высоко, давайте, ребята, сходите на ручей за водой и согретье ведерка два кипятку.

— Есть, товарищ лейтенант.

Два дюжих и ловких парня в одних нательных рубахах побжали по скату в ложбину, где, прячась от солнца в узких протоках, поросших густой зеленью, журчал, переползая по камушкам, холодный ключевой ручей.

Придя за водой, они поспешно разделись, черпали ведрами воду и поливали на свои покрытые бронзовым загаром тела. Потом неспеша оделись и, также неспеша, чтобы не расплескать воду, поднялись в гору к своему становищу, состоявшему из трех небольших палаток.

Когда на костре в железных ведрах стала пузыриться вода, пуская легкие кисейные клубы пара, послышался топот скачущего коня. Прошло две-три минуты, из кустов орешника и низкорослого дубняка, пригибаясь к луке седла, стремглав вынырнул и примчался к отряду Ключаев. Нельзя сказать, что на нем не было лица; лицо было, но бледное, с крупными каплями пота, искаженное страхом.

Взмывленный Вихрь с полного ходу застопорил свой бег, остановился и захрипел, фыркая и обдавая пенистой слюной стоявших вблизи костра бойцов. С термосом за спиной, Ключаев спрыгнул с коня и, опустив повод, подойдя к Тайшихину, дрожащим голосом доложил:

— Товарищ лейтенант, стреляли...

— Вижу,—усмехнулся Тайшихин и строго спросил:

— А ваша светлость почему не отвечала на выстрелы? Патроны куда берег? Что, мало тебе было трех магазинов?..

— Да я... да я...—замешкался Ключаев, растерянно поглядывая на улыбающихся бойцов,—я не мог успеть. Их трое из кустов с разных сторон сразу. Тут пока бы я с автоматом разворачивался, они бы меня укокали наверняка. Пришлось пришпорить и наддать плетью, и ускакать...

— Дурак!—закючил Тайшихин и более ясно определил:—трусиска...

Увидев сбоку на термосе просочившуюся медовую жидкость, как свежую серу, стекавшую на гимнастерку Ключаеву, Тайшихин подошел ближе и разглядел пулевое входное отверстие: пуля прошибла стенку термоса и застряла внутри посуды.

— Одна задела,—заметил Тайшихин и спросил более мягко:—Сколько выстрелов было?

— Запомню, товарищ лейтенант, пожалуй, раз десяток пальнули,—отвечал Ключаев.

— Плохо стреляют, тоже мне—смертники... И ты, черт, не посмел обернуться и чesanуть их из ППШ. Эх, голова садовая! Ну, рассказывай, что за пасека, что за мед, кого там видел?..

Ключаев освободился от термоса. Один из бойцов отвинтил крышку, и остатки меда стали растекаться по солдатским котелкам. Извлекли закопченную пулю, по размеру—револьверную. Стало быть, они, смертники, не с винтовками бродят, а с карманным оружием. Так они, пряча оружие, могут маскироваться под местных обывателей.

Ключаев рассказал, что он видел на пасеке несколько человек, но кто они—китайцы, корейцы или японцы—почем знать. Все они, по его словам, «на одну колодку деланы, желтолицы, косоглазы, зубы у многих изо рта наружу выпирают».

Наскоро бойцы лейтенанта Тайшихина пили горячий густо заваренный чай с медом. Надоедливые мухи нахально лезли в кружки.

— Ну, ребята, не жалейте меду, пейте, ешьте, наслаждайтесь сладкой жизнью. От сладкой-то жизни никому умирать не захочется. Лучше воевать станете,—полушутя, полусерьезно говорил Тайшихин.—Умирать—это дело смертников, а наше дело—бить, побеждать. Ну, а если кому и смерть подвернется,—ничего не скажешь. Она не воробей, палкой не отгонишь.

Тайшихин грустно улыбнулся, видно, подумал что-то не совсем веселое.

Не успело солнце скатиться за сопки, отряд, разделившись на две небольших группы, выехал патрулировать на шоссе и прочесывать прилегающую местность в районе пасеки.

— Ты будешь у меня за связного и будешь неслучно при мне,—сказал Тайшихин Ключаеву и добавил внушительно:

— И каждое мое слово—тебе закон. Если струхнешь,—головы своей не досчитаешься. Вот.

Оставив Колосова с группой всадников на шоссе, Тайшихин впереди отряда мелкой рысцой потянулся в сопки, к пасеке. Упрямый дубняк цеплялся за стремяна, хлестал по голенищам, иногда доставал их фуражки, крепко прихваченные ремешками за подбородки.

Осторожная и шустрая кобыла Дунька часто перебирала тонкими, быстрыми ногами. Привычная к легкому и гибкому Тайшихину, она словно не чувствовала на себе тяжести, шла весело, как на прогулку.

Рядом с Дунькой, огрызаясь и мотая стриженной шеей, бок о бок шел меринок Вихрь с мало-мальски успокоившимся Ключаевым. За ними гуськом тянулись остальные восемь всадников.

Бинокль, болтавшийся на груди Тайшихина, почему-то казался ему лишним. Подавая его Ключаеву, он сказал:

— Возьми, мне эта штука ни к чему, только мешает...

Еще не успели наступить сумерки. Солнце катилось все ниже и ниже, обходило сопки и становилось более ярким, налитым, малиновым и крупным.

Когда отряд Тайшихина пересек дубняковые рощи и поднялся к пасеке, горные выступы с крашеными ульями озарились особым светом, достойным живописи. Ульи играли обилием красок. Одинокие пчелы золотом искрились, низко кружась над своими любовно и по-хозяйски прекрасно устроенными жилищами.

Кавалеристы объезжали пасеку с двух сторон. Кроме женщин, наряженных в цветистые кимоно, казалось, тут никого не было.

— Откуда же в тебя стреляли?—спросил Тайшихин Ключаева.

— Ровно бы, вон оттуда. Я на Вихре по той тропинке спускался.

— Добавь, без памяти,—подсказал Тайшихин.

— Пожалуй, что так.

Позади ехавшие бойцы усмехнулись.

— А мне и сейчас не смешно,—признался Ключаев, настороженно поглядывая по сторонам.

И он был прав. Смех, как быстро появился на лицах некоторых бойцов, так же быстро исчез. Едва они поравнялись с последними, крайними ульями и, взяв с небольшого разбега вскачь невысокий глинобитный плетень, оказались в чумизе, раздалось несколько выстрелов.

По команде Тайшихина всадники с обнаженными шашками враспынную бросились по сторонам искать невидимого противника. Сверкнул в воздухе чей-то клинок, и первый обнаруженный в борозде японец-смертник, успев сделать выстрел с промахом, так и остался лежать наискось разрубленным. Кавалеристы заметили, кто вдоль пасеки, кто по длинным, пахнущим чумизой и маком полосам; нащупывали притаившихся смертников и с ожесточением рубили их.

Два коня оказались подстреленными. Взяв на изготовку автоматы, бойцы, спешившись, залегли за ульи.

Над их головами, прошипев, с ремешком вроде хвоста, пролетела ручная японская граната и резко разорвалась, пометив место разрыва желтым, вонючим дымом.

Три досчатых улья разнесло в щепки. Рой обезумевших пчел закрутился в воздухе.

Вихрь под Ключаевым, ужаленный пчелами в морду, поднял-

ся на дыбы и, чуть не сбросив всадника, ошалело понес его вскачь на возвышенность.

А выстрелы на пасеке продолжались и крики: «банзай» и «бей гадов!» смешивались и доносились отчетливо до ушей Ключаева.

Примерно в полукилометре от места происшествия он остановил и повернул коня. Дрожащей рукой, еле переводя дыхание, вскинул к глазам бинокль. И его глазам вмиг представилась такая неотрадная картина: низкорослый в желтом плаще японец почти в упор стрелял из револьвера в лейтенанта Тайшихина. Тот на бесноватой от пчелиных укусов Дуньке метался, кружась на месте. И вдруг самурай вытащил из под плаща длинный сверкающий меч, и тогда же в долю секунды сверкнула шашка в руке Тайшихина...

А потом и кобыла Дунька и всадник вместе с ней свалились на полосу зреющего мака. Куда-то исчез и самурай с длинным, будто огненным мечом, блеснувшим при солнечном закате. Но раздавались еще выстрелы смертников, и сверкали обнаженные сабли бойцов, и носились вдоль пасеки ошалевшие лошади без всадников.

«С Тайшихиным неладно, убит... своими глазами видел»...—с этой мыслью Ключаев завернул коня, пришпорил его и во весь дух помчался на шоссе оповестить Колосова и его товарищей.

Скакал он, изогнувшись в седле до последней возможности. Дубняк и орешник в кровь поцарапали ему физиономию, но он не чувствовал ни малейшей боли. Минут через десять, вырвавшись на шоссе, Ключаев выстрелил из автомата и закричал не своим испуганным голосом:

— Колосов!.. Давай на подмогу!..

Небольшой отряд сержанта Колосова не замедлил появиться на зов и выстрел Ключаева. Последний кое-как пояснил:

— Дело дрянь, ребята... Тайшихина вместе с конем японцы уложили, сам видел... Остальные—кто погиб, кто бьется... Нужна подмога...

— Валяй передним!—только и сказал Колосов. И вся группа помчалась в сторону пасеки...

А в это время в отряде Тайшихина произошло следующее:

Когда встревоженные пчелы напали, главным образом, на коней, человек пять кавалеристов, спрыгнув с седел, пешими, каждый в одиночку, кто с обнаженной шашкой, кто с автоматом наготове, кинулись искать смертников. Две лошади, подстреленные самураями, издыхали, хрипя и подергивая ногами. Если не считать исчезнувшего отсюда Ключаева, верхом оставался один боец, прекрасно справляющийся со своим конем, не взирая на пчел, да сам лейтенант Тайшихин, который оказался лицом к ли-

цу с главным из группы японских смертников. Ускользая от наседавшего Тайшихина, японец торопливо «мазал» из пистолета. Он успел израсходовать все патроны и все мимо. Но в то же время у Тайшихина автомат отказался действовать. Это заметил японец. Он вытащил из-под плаща длинный самурайский меч, бросился навстречу лейтенанту. Поединок произошел в мгновение. Это мгновение по-своему усмотрел в бинокль растерявшийся Ключаев. Но именно по-своему усмотрел.

Дело произошло так: сильным ударом меча самурай намеревался сразить всадника. Но Дунька в этот миг поднялась и острый, как бритва, меч смертника почти напрочь отсадил ей голову. Не сплосал и Тайшихин, и в ту же долю секунды он взмахом клинка снес полчерепа японцу.

Высвободившись из-под упавшей лошади, Тайшихин отполз в сторону и быстро устранил задержку в своем автомате.

Между тем, в этом сейчас уже особой надобности не было. Выстрелы смертников прекратились. Успокаивались растревоженные пчелы, но, запинаясь за поводья, все еще носились в окрестностях пасеки испуганные кони.

Для Тайшихина потеря Дуньки была большой неприятностью. Ругаясь, он снял кожаную сумку с убитого им японца и, посмотрев на своего убитого коня, сказал:

— Ключаев, надо снять с Дуньки седло и узду.

Но, увидев, что Ключаева нигде нет поблизости, он спросил бойцов, где же Ключаев, что с ним, не убит ли?..

— Не может быть,—заметил один из кавалеристов, нервными пальцами скручивая сигарку,—я видел, как его Вихрь понес туда в гору...

— Ужели, стервец, ускакал? Ох, и разберусь я с ним. Давайте, молодцы, собирайте коней. Пленного сюда.

Кавалеристы убедились, что теперь здесь опасаться некого и, тем не менее, с большой предосторожностью и готовностью к схватке стали подводить итоги боя. Оказалось зарубленных шесть смертников. Среди них, судя по знакам различия, скрытым под плащом, был один майор, убитый Тайшихиным; один японец взят в плен. Из красноармейцев—убит один, двое ранены, загублены три коня.

...Тайшихин в Отечественную войну не был на фронте. Он служил на Дальнем Востоке и, думая, что когда-нибудь ему пригодится, изучил японский язык и знал более трехсот японских слов на память. Этого было достаточно для первого, хотя бы и поверхностного разговора. Но сразу с пленным он не захотел разговаривать, а с увлечением начал рассматривать иероглифы документов, извлеченных из сумки убитого самурая.

— Да, действительно, ребята, в переводе на наше звание это был майор. Он меня старше на шестнадцать лет. Фамилия Хаури, родом из Йо-ко-га-мы,—по складам прочел Тайшихин и продолжал делать новые открытия:—У него должны быть ордена и немало, но их, как видно, нет при нем. Вот его записная книжка. Японцы любят всякую чепуху на карандаш брать...

В эту минуту послышался топот, и в район пасеки влетел Колосов со своими бойцами, а рядом с ним Ключаев. Все с обнаженными клинками.

— Стойте, стойте!—закричал Тайшихин и сделал рукой предупредительный знак.—Спрячьте клинки, после драки кулаками не машут...

Яростно набросился на Ключаева:

— А ты, а ты, как с ними оказался?.. А ну-ка, слазь с Вихря.

Тайшихину все казалось ясным.

— А ну, живеј слазь! Ко мне!—прикрикнул Тайшихин. Ему хотелось ударить Ключаева, не ожидая от него никаких пояснений, благо кулаки сами послушно сжимались и тянулись к физиономии провинившегося. Но Тайшихин сдержался от такого соблазна: не к лицу советскому офицеру заниматься рукоприкладством.

Смущенный тем, что перед ним стоит живой и притом не в меру злой лейтенант, Ключаев покорно и неторопливо слез с коня, козырнул Тайшихину, сказал, заплетаясь:

— А мне померещилось, будто вас убил японец, я видел, как вы падали и не поднялись...

— Плохо ты видел! Не теми глазами смотрел. Затылком ты глядел на товарищев. С тобой, Ключаев, я еще буду разбираться.

— Пчелы, товарищ лейтенант, не мог с Вихрем справиться...

— Ну тебя к черту! Слышать не хочу,—отмахнулся Тайшихин,—вижу, какие пчелы! Придется тебе самому пожалеть себя за сегодняшний поступок. Почему никто другой из нашего десятка не рискнул удрать отсюда на шоссе?.. Почему нам пчелы не помешали—я спрашиваю? Неладно, Ключаев, ох, неладно...

Оставшийся в живых пленный смертник сидел на траве. Он поджал под себя ноги, обутые в желтые стоптанные ботинки, и угрюмо, сквозь выпуклые окуляры, глядел в дуло направленного ему в лицо автомата. О побеге у него не было и мысли, поэтому помертвевшими губами он что-то шептал себе под нос. Быть может, молитву, адресованную японской богине; быть может, прощания со всеми, кого мог припомнить в этот, возможно, свой последний, смертный час.

Рядом с пленным самураем лежала, сделанная наподобие небольшого чемодана, брошенная им черная лакированная железная

шкатулка с позолоченным обрамлением на крышке и белой никелевой скобой-ручкой.

Шкатулка заинтересовала Тайшихина. Но открыть секретный замок с двумя дисками иероглифов и цифр оказалось делом трудным. Разве только захваченный в плен японец сможет это сделать?

С этим делом Тайшихин пока не спешил. Он приказал отвезти раненых и труп убитого красноармейца на шоссе для отправки в тыл на первой попутной машине. И, оставаясь на пасеке, решил заняться пленным.

Путаный, сбивчивый разговор между Тайшихиным и японцем дал понять, что пленный был денщиком убитого майора Хаури. По его бесстрастному, окаменевшему лицу можно было заметить, что все ему на этом свете безразлично. Из скупых ответов японца Тайшихин узнал, что отряд смертников, разъединенный на мелкие группы, состоял из сорока пяти человек; в разное время и в разных местах перебит русскими войсками.

На предложение Тайшихина открыть шкатулку, принадлежавшую майору Хаури, пленный отрицательно pokrutil головой и ответил, что она заперта майором и кроме него никто не знает секрет замка. Или надо взламывать, или много и долго трудиться, чтобы разгадать секрет.

— Ишь ты, какая заковычка!—удивился Тайшихин.—Взломать-то мы его всегда сумеем и успеем.—Он поднял шкатулку и, как только оторвал ее от земли, раздался резкий беспрерывный звонок.

Японец улыбнулся и услужливо нажал на шкатулке незаметную кнопку; звон прекратился.

— Хорошая штука. Ломать не будем. Надо суметь открыть. А ценности там, вероятно, не ахти какие!—проговорил Тайшихин и стал с большим трудом подбирать слова, чтобы спросить пленного о содержимом шкатулки. Японец pokrutil головой и ничего на этот раз не ответил.

— Откроем,—уверенно сказал Тайшихин и, посмотрев сердито в сторону стоявшего около него Ключаева, распорядился:— Вот, отведешь пленного к начальнику штаба кавполка, и если самурай сбежит от тебя, тогда головой ответишь. Тогда я тебе и сегодняшних пчел напомяну. Отведешь японца, а потом будешь пыхтеть над шкатулкой хоть неделю, хоть месяц, хоть до самой демобилизации, а отопрешь и секрет замка мне разумеешь. Понятно?

— Понятно, товарищ лейтенант, только нельзя ли мне в помощь для сопровождения пленного еще одного товарища. Ночь на носу, как бы не сиганул, а тут все кусты да горы. Случится что, ищи-свищи...

— Это верно,—согласился Тайшихин,—с тобой поедет Кравцев, но ты будешь за старшего. Желательно довести самурая живьем, но если попытается он бежать,—не зевайте. Да доложи там по всем правилам, при каких обстоятельствах смертник захвачен. К утру чтобы обоим вам прибыть на стоянку.

— Есть, товарищ лейтенант, разрешите отвести?

— Постой, надо с ним записку—препроводительную, а обратное расписочку привезешь.

Тайшихин быстро написал «препроводительную», и Клюкаев с Кравцевым верхами тронулись сопровождать пленного.

\* \* \*

...До наступления ночи бойцы успели осмотреть все фанзы в районе пасеки и, не обнаружив ничего подозрительного, поспешили на шоссе к месту своей стоянки.

Эту ночь они провели спокойно.

В тылу наших наступавших частей, ушедших вперед за Муданьцзян, было тихо. На утро вернулись конвоиры Клюкаев с Кравцевым. Они благополучно доставили пленного в часть и привезли Тайшихину приказ—занять впереди новый участок для патрулирования и вылавливания смертников.

Не задерживаясь, кавалерийское подразделение меняло свою дислокацию, переезжая на новое место.

Клюкаев замечал недовольство командира. Лейтенант Тайшихин казался ему мрачным, неразговорчивым, злобным. Но Клюкаев даже не обиделся, когда Тайшихин отобрал у него Вихря, приказал идти пешком, да еще нести седло, снятое с Дуньки и трофейную шкатулку. Чувствуя себя виноватым, Клюкаев был готов точно, быстро и яростно выполнить любое приказание командира, лишь бы доказать, что вчера на пасеке он так поступил не из трусости, а ошибся в оценке обстановки и ускакал за помощью. Молчаливые и суровые взгляды Тайшихина ему определенно не нравились. Идя позади всех и обливаясь потом под тяжестью ноши, Клюкаев много передумал. Его удручала неизвестность—как-то обернется дело?

Крупные капли стекали по его лицу и на промокшей, просаленной спине скрипело пахнувшее лошадиным потом лощеное, коричневое седло, и резала пальцы металлическая ручка шкатулки, которую, по его мнению, легче было разбить о камни и бросить.

За поворотом дорога потянулась в гору. Тайшихин, пропустив мимо себя подразделение, дождался спешенного Клюкаева.

— Ну что, тяжело?

— Нет, товарищ лейтенант.

— Ведь и тут врешь!—грубо одернул его Тайшихин и, сжа-

лившись, взял у него седло, приспособил перед собой на луке и двинулся следом за бойцами. Ключаеву стало легче. Легче не только физически. Быть может, все разрешится проще?..

На новом участке, между двух китайских населенных пунктов, работы отряду было не так много. Здесь сами китайцы несли охрану дороги и нередко разоружали и доставляли японцев в отряд и даже охотно сопровождали их дальше по указанию Тайшихина.

В эти дни Ключаев часто молча сидел над шкатулкой, и так и этак тысячи раз крутил во все стороны диски замка, приподнимал крышку, но она, как прикованная, не открывалась. Иногда его одолевала злость, и он ворчал себе под нос:

— Да тут на сто лет хватит мудрить, и ни черта с ней не поделаешь. Гораздо легче топором бабахнуть, и вся эта штукавина к черту разлетится...

Тайшихин не соглашался. Ему очень хотелось во что бы то ни стало распознать секрет хитрого японского замка и владеть неразбитой шкатулкой. И Тайшихин додумался: не может быть того, чтобы майор Хаури, на всякий случай, не записал где-либо разгадку секретного замка! С этой целью он то и дело перелистывал записную книжку Хаури, внимательно всматривался в каждую цифру, обдумывал, однако ничего не получалось.

Но однажды он обратил внимание на красный кружочек с лучами. Вправо внизу лучи показывали на цифру 232, обозначавшую количество страниц в книжке; лучи от кружочка влево вверх показывали на овальные портреты каких-то важных военных особ и их фамильные иероглифы. С этой разгадкой и подошел Тайшихин к удрученному Ключаеву.

— А ну-ка, дай сюда волшебный сундучок, я попробую,—и, будто бы шутя, без всякой уверенности, он взял шкатулку себе на колени и для большей таинственности постучал по крышке кулаком. Затем наклонился и для смеху сказал под рифму:

Три дня Ключаев зря старался,  
А ларчик просто открывался.

Он покрутил никелевые с черными иероглифами и цифрами диски так, как подсказала ему находчивость. Сначала поставил стрелку диска на 232, затем на иероглифы, что были помечены в записной книжке под портретами, и крышка со звоном открылась сама собой. Тут все бойцы зашумели, громко засмеялись и кучей навалились рассматривать то, что было в шкатулке. А было немного: шелковое знамя с фамильными знаками сорока пяти смертников, восемь японских орденов и каучуковая печать с изображением дракона.

В качестве военного корреспондента я приехал в отряд Тайшихина как раз в тот самый момент, когда лейтенант сидел над раскрытой шкатулкой и щедро раздавал серебряные многоугольные ордена тем, у кого из бойцов есть дома младшие братишки.

— Пусть им будет для утех...

Шелковое знамя смертников Тайшихин хотел было разрезать на восемь равных частей и поделить среди участников происшествия на пасаке, причем Ключаеву ничего не присчитывалось. Я уговорил лейтенанта не портить эту тряпку, не резать ее на восемь носовых платков, а подарить мне для музея. Бойцы меня поддержали, и Тайшихин согласился...

А через двое суток в их отряде я читал этот рассказ. Тайшихин так был доволен, что расщедрился и подарил мне на память трофейную шкатулку, от которой, я уверен, и вы бы не отказались.

Рассказ послужил поводом для продолжения разговоров о Ключаеве и его поступке.

— Ну как, правду про тебя написал товарищ капитан?—весело спросил Тайшихин опечаленного Ключаева.—Ну, скажи, теперь дело прошлое, ведь тогда на пасаке струсил?

Ключаев замялся; подумал, ни на кого не глядя, ответил:

— Должно быть, с испугом не справился. Не привык еще.

— Опять отговорочки. А разве тот товарищ, которого мы потеряли, рассуждал так? И другие так не рассуждают. Заметил ты, вот пятый день пошел, а бойцы с тобой в молчанку играют, разговаривать не хотят, хотя с их стороны это тоже неладно.

— Заметил,—понуро проговорил Ключаев,—тогда с испугом, а теперь со стыдом не знаю как управиться.

— Так бы и говорил. Будь самым первым в любом деле, и люди о тебе будут думать хорошо. Может, Ключаев, перевести тебя в другой дивизион?

— Не надо, товарищ лейтенант. Даю слово... Ни я за себя, ни вы за меня краснеть больше не будете. Посылайте хоть к черту на рога, не испугаюсь...

— Посмотрим,—предупреждающе сказал Тайшихин,—если сдержишь слово свое, мы тогда будем знать, что у Ключаева не овечье сердце. Так?

— Так точно, товарищ лейтенант, не овечье...

Но Тайшихин не хотел скрывать допущенный Ключаевым факт трусости. Он уже написал об этом рапорт в полк. Не рассчитывая на серьезные последствия, он полагал, что на Ключаева будет наложено взыскание и тем дело кончится, а в дальней-

шем у него трусость сама собой изживется, ведь не все же начинают воевать с геройских поступков.

Между тем из штаба полка рапорт Тайшихина с резолюцией последовал военному прокурору на расследование.

Я еще не уехал из отряда в редакцию армейской газеты, как ночью к нам в палатку явился представитель военной прокуратуры расследовать случай, скупо и необстоятельно изложенный в рапорте Тайшихина.

— Ну, что ж, заночуйте, товарищ следователь,—задумчиво сказал ему Тайшихин,—утро вечера мудренее. Завтра допросите. Только вот, к сожалению, самого Ключаева нет. Он двое суток здесь не появится.

— Где он?—спросил нетерпеливо следователь и, не дожидаясь ответа, начальническим тоном сказал:—Его нужно вызвать; возможно, придется предъявить ему обвинение в проявлении трусости или, больше того, в предательстве...

— Приму меры,—опять о чем-то думая, ответил сосредоточенный Тайшихин.

Мне показалось, что лейтенант замышляет найти какой-то выход из положения, чтобы избавить Ключаева от ответственности. Ключаев, как мне было известно, в эту ночь с товарищами патрулировал неподалеку от расположения отряда, и мог быть вызван к следователю в любое время.

Да, я не ошибся. Тайшихин что-то затевал. Ночью, когда следователь, положив голову на седло, захрапел, Тайшихин тихонько толкнул меня в бок, прошептал:

— Товарищ капитан, вы не спите?

— Нет.

— Выйдем на минутку. Я хочу с вами посоветоваться...

Мы вылезли из-под парусиновой палатки и отошли в сторону, чтобы часовой не слышал нашего разговора. Слишком тиха была ночь. Глубокое темносинее небо усеяно мигающими звездами. Стоявшие на привязи кони, хрустя, жевали обильный подножный корм. Изредка неподалеку шумно проносились небольшие колонны автомашин, ярко освещая фарами ближайшие придорожные кусты. В двух километрах от нас тихое, точно вымершее, прижавшееся к спящей земле китайское селение. Слабый ветерок откуда-то доносил неприятный запах разлагающихся трупов. Здесь несколько дней тому назад проходила дорога войны. Следы работы нашей авиации, преследовавшей отступающих японцев, останутся надолго заметными. Фронт где-то был уже далеко-далеко впереди, на границе Маньчжурии и Кореи. Там разоружали и принимали в плен самураев. Война на востоке подходила к концу.

— Я вот что надумал, товарищ капитан,—заговорил таинственно Тайшихин,—мне нежелательно подводить Ключаева под большое наказание. Пусть он струхнул малость, но ведь он же с Колосовым и другими прискакал обратно на пасеку, вроде бы к нам на выручку. Как тут понять? И потом он после того случая готов в огонь и в воду. Почувствовал. А это важно. Вот я и надумал, пока тут следователь копается, не послать ли мне Ключаева с несколькими товарищами на поиски смертников, дня на три-четыре, пусть он, чертов сын, отличается. Пусть на деле докажет себя, а дело подвернуться может. Как бы вы на моем месте поступили, товарищ капитан?..

Что ему на это ответить? Удобно ли задним числом искать смягчающие вину обстоятельства?

И я сказал ему так:

— Товарищ лейтенант, у нас на Карельском фронте хотя редко, но случались подобные истории. И не всегда дело кончалось трибуналом. Иногда было достаточно вмешательства командира или политработника. Поступайте, как вам подсказывает рассудок и совесть... Но, ставя боевую задачу перед Ключаевым, не пугайте его следователем. Пусть парень отличается не из боязни ответственности, а от чистого сердца, от души. Так будет вернее, лучше.

После этого разговора я ушел спать в палатку. Тайшихин с двумя бойцами, не мешкая, ускакал искать Ключаева. До рассвета он возвратился. И едва ли ложился отдыхать. Когда я проснулся, он уже был в довольно бодром состоянии, одет, обут и, сидя на бугорке, зачесывал волосы. Меня подманил пальцем, тихо спросил:

— Спит этот приезжий из прокуратуры?

— Начальство не спит, а поживает,—шутя ответил ему я.

— Ну и пусть поживает, а я Ключаева и с ним еще четырех снарядил порыскать тут по сторонам денечка на два-три... Ключаева назначил быть старшим...

За утренним чаем хитроумный Тайшихин угощал следователя горячей рисовой кашей с медом; был с ним подчеркнуто вежлив, словоохотлив и внимателен. Когда заходила речь о Ключаеве, то следователь выспрашивал издалека и вскользь; так же ему отвечал и Тайшихин:

— Уж ежели говорить по совести, то Ключаев в сущности не плохой боец; но только немножко дольше других не умеет привыкнуть к обстановке опасности. Ничего, привыкнет. А что касается моего рапорта до начальства, так тут я немножко под первым впечатлением поспешил; опять же порядок такой: я должен был доложить по поводу факта и реагировать. Мы, конечно, вот

подтвердит и товарищ капитан, постарались воздействовать на Ключаева всем отрядом...

— Так-так, придется выяснять все досконально,—непреклонно заключал строгий следователь,—я сегодня постараюсь допросить тут кое-кого...

Следователь неспеша целый день тщательно записывал показания и прятал бумаги в походную сумку.

А на другой день вся его работа пошла насмарку. Ст Ключаева прискакал верхом на вспененном коне боец и торопливо доложил Тайшихину о том, как они вчера обнаружили трех смертников-японцев, гнались за ними, двух убили в перестрелке, а третий, хотя и смертник,—поднял руки.

Ключаев ранен в ногу выше колена; хотел прикончить пленного, но тот сделал такую физиономию, что бойцы уговорили Ключаева оставить японца в живых. И не зря. Этот пленный ночью лежал связанный, а утром сегодня привел группу Ключаева в сопки к замаскированному складу спрятанного оружия.

Сколько там винтовок, пулеметов и всякого добра, сказать трудно. Боец вручил Тайшихину памятое письмо.

«Товарищ лейтенант. Пишу вам я, Ключаев. Ранен в ногу. Натекло полсапога. Вчера двух убили. Наши все, кроме меня,—целы. Третьего самурая взяли живьем. Он нам показал в сопках склад. Много всего. Подробности доложит боец Текусов. О складе надо сообщить трофейщикам. Пошлите мне запасных бинтов парочку.

Красноармеец Ключаев.

27 августа 1945 года. Маньчжурские сопки.»

Я снял копию этого письма.

А следователь прокуратуры взял себе подлинный документ, как он выразился, «на предмет присовокупления к делу в целях прекращения производства дознания».

На автомашине вглубь сопки пробраться было невозможно. Китайцы в плетеной легкой фуре доставили раненого Ключаева на шоссе, а отсюда с первой попутной санитарной машиной отправили в госпиталь.

Перед отправкой из подразделения я видел Ключаева. Пуля пробила ему ногу навывлет, слегка задела кость. Он вроде был доволен своим участием в выполнении боевого задания, и в этом для него было главное. Лежа на носилках, он курил сигарету за сигаретой и, улыбаясь, рассказывал отрывочными фразами о том, что и японские смертники умеют показывать спину. А мне даже подсказал:

— Товарищ капитан, вы там к написанному добавьте кое-что...

— Добавлю, добавлю товарищ Ключаев, как требует того справедливость.

Раненый улыбнулся.

— Может, я прочитаю где-нибудь про себя?

— Вполне возможно.

Следователь его не беспокоил. Вопрос был ясен...<sup>1</sup>

## 31. СНОВА ДНЕВНИК

19 августа. Сегодня наш переводчик (кстати сказать, это — очень ценное «пособие» для корреспондентов—переводчики!) познакомил меня с интересными источниками о зарождении в японской армии культа смертников, так называемого «камикадзе», что в переводе означает «сыны священного ветра». Оказывается, по преданию японских историков было так:

700 лет тому назад у берегов Японии появился с эскадрой внук Чингиз-хана—Хубилай. Самураям не под силу было справиться с ордами Хубилая. Но на их счастье поднялся тайфун. Суда с войсками хана Хубилая тайфун отбросил в море и утопил их.

Фанатичные японцы сочли, что это был «священный» ветер, спасший их на островах от грозного монгольского нашествия.

В честь этого события, организации японских смертников на суше, на море и в воздухе называются «камикадзе» по сей день. Люди, причислившие себя к группам смертников, считаются заведомо обреченными на смерть, на верную гибель. Но, погибая, они должны совершать героические поступки. Пока они живы, они пользуются особыми привилегиями, могут пить, кутить, беспрепятственно посещать публичные дома, им прощаются даже уголовные преступления. Им все можно. Они дали клятву умереть за императора. Они сыны священного ветра!

Перед выполнением задания такому смертнику объявляют именем императора приказ. Надевают ему на голову повязку с изображением восходящего солнца и тушью начертанными лероглифами.

Особый вид ценных смертников распространен среди японских летчиков, а также среди моряков, последними «заряжаются» торпеды, спрятанные на случай атаки в специальных морских гнездах.

---

<sup>1</sup> Знамя смертников я привез и сдал в Архангельский областной музей, а в секретной шкатулке майора Хаури мой сынишка хранит детские безделушки.

Где-то вы сейчас, уважаемые товарищи Тайшихин и Ключаев?

Летчикам смертникам, отправляющимся в безвозвратный полет, предусмотрительно баки самолетов заполняются бензином с расчетом слетать в один конец. Так надежней. Хочешь не хочешь, а свое призвание оправдаешь. Смерть, так и так, будет обеспечена...

Интересный документ обнаружен в записной книжке японского смертника летчика Циюхара Иосифа:

«Задача—нанести таранный удар на полном газу при скорости 550 километров. Удар нанести в трубу или мостик. До последнего момента не смыкать глаз, хорошо прицелиться. Если нет кораблей, то выбрать в городе самый большой дом.

В случае обстрела зенитной артиллерией или встречи с советскими истребителями помахать крыльями и выпустить шасси, выкинуть японский флаг и, сделав ложные знаки о сдаче, продолжать любыми средствами выполнять задание по нанесению таранного удара»...

Обман яг-энскому летчику не удался.

Вместе с машиной, подбитый нашими зенитчиками, он распластался на пути к своей цели.

...Прошло десять дней войны. Всего только десять дней. Но продвижение наших войск в Маньчжурии было так стремительно, удары по врагу так разительны, что японцы всерьез запросили пощады, встав перед фактом капитуляции на деле.

Сегодня утром в штаб советских войск, расположенный в Муданьцзяне, прибыли парламентареры. Среди них—начальник штаба 5-й японской армии генерал-майор Кавагоэ, полковник Касивода и другие лица. Они приехали поговорить о серьезном деле.

Дважды Герой Советского Союза генерал-полковник Белобородов в окружении немногочисленной свиты офицеров штаба, в присутствии представителей печати принимает гостей. Через переводчиков происходит очень сухой, весьма сдержанный разговор.

— Вы получили приказ о капитуляции?—первым делом спрашивает Белобородов, обращаясь к главному лицу среди парламентареров—генералу Кавагоэ.

Тот что-то тихо шевелит губами, озирается на своих спутников и говорит вполголоса:

— Штаб Квантунской армии не употребляет термина «капитуляция», штаб употребляет термин «сложить оружие».

— Речь идет только о безоговорочной капитуляции,—говорит ему и его свите генерал-полковник Белобородов. Кавагоэ достает блокнот и «вечное» перо, записывает.

— Так и запишите, что советское командование настаивает на своем и предлагает вам немедленно отдать приказ войскам о капитуляции, собраться в пункте, который мы вам укажем, с белыми флагами, сдать все огнестрельное и холодное оружие. Понятно?.. (Кавагоэ кивает головой). Теперь скажите, где находится ваш штаб?

— Штаб 5-й армии во главе с командующим генерал-лейтенантом Симидзу расположен на станции Хандахез,—отвечает Кавагоэ, не выпуская из рук блокнота.

— Когда получен вами приказ штаба Квантунской армии о прекращении военных действий?

— Приказ был отдан 17 августа в 22 часа, но мы его получили только вчера. У нас плохо работает связь, нарушенная действиями Красной Армии...

И, как бы попутно, Кавагоэ спрашивает:

— Скажите, как идет сдача остальных японских армий?

— Ваши армии капитулируют,—переводят ему слова Белобородова.

Кавагоэ что-то мычит себе под нос. Дрожащей рукой царапает в блокноте иероглифы, потом снова задает вопрос:

— В тылу ваших войск где-то есть наша 124-я дивизия. Могли ли вы знать, где она и что с ней?

— Можете знать, она разгромлена,—равнодушно отвечает генерал-полковник Белобородов.

Кавагоэ делает кислую мину и прячет блокнот в карман френча.

Затем ему через переводчиков объясняют, что при сдаче в плен японской армии должен соблюдаться строжайший порядок, чтобы никаких эксцессов, чтобы оружие сдавать полностью, склады боевой техники в сохранности.

После чего парламентарии окружают своего генерала, коротко о чем-то совещаются. Кавагоэ отдает приказание полковнику Касивода сообщить по радио в штаб 5-й армии о переговорах и сказать, что они остаются здесь до приезда и сдачи командующего генерал-лейтенанта Симидзу...

В тот же день, немного позднее, а именно в 15 часов 30 минут, состоялась встреча представителей командования Квантунской армии с маршалами Советского Союза Василевским и Мерецковым.

Японские представители прибыли на самолете в указанное место, где неподалеку от советско-маньчжурской границы находилась ставка маршала Мерецкого. Втроем—начальник штаба Квантунской армии генерал Хата, японский консул в Харбине и начальник первого отдела штаба Квантунской армии подполковник Сидзиму, медленной походкой подошли к новенькому свежес-

выструганному домику, поднялись по крылечку. Там их пригласили в кабинет.

Вежливо и почтительно поклонившись нашим маршалам, японцы усаживаются за стол. Начинаются переговоры. Цель их и характер уже predeterminedены ходом событий и ясно, о чем пойдет речь.

21 августа. Внешне Харбин выглядит обыкновенным, крупным русским городом. В центре тяжеловесные кварталы купеческих домов с вывесками частников, с их русскими фамилиями.

Харбин расположен на берегу реки Сунгари. Город сравнительно молодой. Ему только 50 лет, а скопил он в своих кварталах и трущобах свыше шестисот тысяч жителей.

Город основан на месте маленькой китайской деревушки Хао-Бин. Здесь в 1896 году появилось сначала русское строительное управление по прокладке железной дороги. Конторы и рабочие бараки стали быстро обрастать лавчонками и магазинами пришлых торговых людей, искавших легкой наживы. Сюда же шли тысячи безработных продавать себя, свою силу подрядчикам строительства. Одна за другой вырастали улицы с русскими, сохранившимися до сих пор, наименованиями: Коммерческая, Биржевая, Школьная, Пекарная, Новгородняя, Мостовая, Болотная, Береговая, Сквозная, Кавказская, Русская и им подобные. На вывесках читаем, как бывало у нас до революции или в годы НЭПа: «Водочно-ликерная Никитиной», «Чай Чистякова», «Товарооборот Шитухина», «Акционерное общество «Победа», «Кабарэ «Фантазия», «Ресторан «Новое солнце», «Шашлычная «Великий океан», «Магазин «Камчатка» Берковичей», «Меха Карелина и К°» ...Множество сотен магазинов, лавчонок, всевозможных заведений, дающих трудовой и нетрудовой доход. Рядом с русскими купцами, разными Витязевыми, Кузнецовыми и Петровыми уживаются Аптекманы, Литваки, Фегельбомы, Ипсены, Гольфельды, Затуловские и Клейны и тут же пестрят вывесками и витринами товаров—Дун-сины, Хун-ки, Ногу-чи, Каса-ямы и прочие и прочие. Древние, декоративные дилижансы, кареты с фонариками, понурые, изнуренные рикши в широченных соломенных шляпах; русские чиновники в перелицованных мундирах, с кокардами на бархатных околышах фуражек, в пенсне, с папками и портфелями подмышкой—словно сейчас, перед нашим приходом в город, они выскочили живые из чеховских рассказов. А вот семенит по мостовой с испитым, восковым лицом, в шелковой черной рясе монашенка. В руках у нее в бархатном переплете молитвенник и пачка свечей. Торопится куда-то: то ли благодарить бога вместе с искренне желавшими освобождения от японского произвола, то ли просить бога, чтобы оставил он свои

гнезда и вертепы в нетронутном состоянии. Как-никак, а все же красные—безбожники...

В городе много базаров. Харбинские рынки производят впечатление нигде невиданной сутолоки, толкотни, гомона и жульничества. На этих пестрых, многотысячеголосых толчках продается и покупается все, начиная с дешевой бумажной игрушки и кончая любовью и совестью. Деньги из рук в руки переходят всякие разные. Тут надо быть не только спекулянтом, но и понимающим валютчиком, знающим курс долларов, стерлингов, червонцев и франков. Кое-кто из харбинцев тихонько спрашивает, нет ли продажных советских облигаций... И тут же я примечал, как кто-то из старожилов диковинного города расплачивается с китайцами николаевскими кредитными билетами. Кем и чем обеспечиваются архаические банкноты, я так и не мог угадать. Очевидно, они в ходу потому, что выглядят узорчато и, несмотря на то, что давно отжили свой век, шуршат в руках солидно. Бедный китаец, который вместо того, чтобы выговорить неповоротливым языком, пишет пальцем на песке цену за товар, берет «николаевки», не зная того, что этот вид денег безнадежен.

Не трудно заметить в Харбине среди окраинного китайского населения нищету, нужду, безвыходность из повседневного тяжелого положения.

На этом же фоне, среди «рядовых» небогатого сословия эмигрантов, царят уныние и скука, тоска по родине, душевная опустошенность.

До вечера я перелистывал тощенькие экземпляры «Рубежа», издание товарищества «Заря» и какого-то Кауфмана, под редакцией Кокшарова.

Журнальчик бледный и чахлый, под цвет дряхлеющей эмиграции. Беру наудачу один из номеров. На первом месте реклама торговых предприятий. Театральная страница пестрит объявлениями постановок: «Мечта любви», «Цыганская любовь», «Ночь любви», «Забубенная головушка».

Под заставкой с изображением ангелов и херувимов стихи поэтесс—Елены Даль, Бибиковой и других. А в стихах—тоска и мистика.

Грустно и нудно жди харбинцы. Но пусть читатель не отчаивается, перелистывает «Рубеж»—дальше в нем, как у дядюшки Якова, «много товару всякого». Тут вам статья о победе японской армии, статья к столетию гимна «Боже, царя храни», заметка с портретом архиепископа Нестора и его призывом помогать самураям. Дальше—свадебные обычаи у разных народов, «Описание белоэмигрантского нагрудного знака», «Как выбрать девушке жениха», заметка «О целях и задачах русской эмиграции», «Как можно стать фокусником», «Моды и модели», «По-

лезные советы»: а) основное в массаже лица; б) как вывести пятна от вина; в) как обновить старые туфли; г) как приготовить зайца, пельмени с грибами, праздничный крендель и пирожное к чаю. Есть еще в журнале рассказ о неудачливом женихе, и снова реклама, реклама...

Опорожнив сумку от «рубежной» чепухи, я с двумя товарищами из роты связи пошел в кино. На улицах людей не убывало. Шум, возгласы приветствий. У моих товарищей на автоматах появились пучки георгин и хризантем. Мне на шею повисла какая-то старушка.

— Батюшка, родной, русский!

И, поцеловав в щеку, перекрестила:

— Спаси тебя господь бог...

— Спасет, бабушка...

Радиорепродукторы гремят песнями Суркова, Лебедева-Кумача и Исаковского. Огромные, кричащие афиши на русском языке, но по-своему, по-харбински, приглашают публику на бесплатные сеансы:

«Сегодня грандиозный советский супер-боевик Петр Первый».

«Музыкальная история» с участием известного харбинцам Лемешева. Только два дня».

«Анонс». Захватывающий советский боевик «Поединок». «Пойдет: «Жди меня», «Свинарка и пастух», «Небо Москвы». Спешите видеть...»

Иду в гостиницу обработать харбинские впечатления для газеты, а их столько, что никак не вмещаются ни в заметку, ни в дневник...

Карандаш вываливается из рук. На улицах светает. Идут отдельные пешеходы. Глухо гремят грузовики, хочется спать, спать...

Утро. Какое утро? Уже день. На улицах оживление. Все больше и больше прибывает наших военных. Прибывают с двух сторон: с запада—части Забайкальского фронта, с севера—части Первого Дальневосточного. И опять цветы и крики «ура» и объятия, и музыка, и приветливые, поздравительные лозунги.

Радиоизвестия доносят, что на всех направлениях продвижения советских войск идет организованная сдача в плен и разоружение японских войск. Как это практически происходит, пришлось видеть в пригородах Харбина.

Большая колонна японских солдат. Японский офицер подходит к нашей комиссии по разоружению и учету оружия. Подает бумагу с указанием наименования части, количества личного состава и наличия оружия. Затем японцы шеренгой по два медленно и молчаливо проходят, складывая винтовки в одну кучу, пулеметы в другую, отходят в пункт сбора. А там на пункте, под

открытым, чистым маньчжурским небом их собралось тысячи. Сидят небольшими группами. Одни из них варят в котелках гаолян, другие едят его ловко, обходясь двумя палочками вместо ложек. Вид у них, что говорить, невеселый. Наши бойцы в шутку называют их «около-ямами», токийскими «гансами», «завоевателями до Урала» и тому подобными прозвищами. При сдаче соблюдается строгий порядок и дисциплина, за чем следят сами японские офицеры, действуя на солдат не только окриком, но и рукоприкладством. Один офицер замешкавшегося солдата ударил звучно по щеке, предварительно надев себе на ладонь специальную дощечку, просунув под ремешок пальцы. Наша охрана пленных почти совсем незаметна: разгуливают в отдалении два-три автоматчика. Беспокоиться нечего: японцам бежать некуда. Убежать, а потом попасть в руки китайцам? Те расправятся в два счета.

Раньше местные жители японцев очень боялись. И как их не бояться, когда, к примеру скажем, неподалеку от Харбина, в районе Изямусы, на самых урожайных местах, японцы, прежде чем водворить своих поселенцев, сожгли 400 хуторов и деревень и погубили свыше 85000 китайского населения. Теперь эти поселенцы—резервисты японской армии—бегут без оглядки в Харбин, запруживают улицы на окраинах города и трепещут, как бы китайцы не припомнили им способ поселения на чужой земле...

\* \* \*

Получены известия, что еще вчера отдельные части Квантунской армии, сформированные из местного населения и стоявшие в Синьцзине, восстали против японцев. Вот почему японцы не только не думают о побеге из плена, а ищут, где есть этот самый плен. Лишь бы остались в целости бока и ребра; ведь у китайцев, насыщенных гневом, рука не легкая.

В связи с этим вспоминаются слова начальника штаба Квантунской армии генерала Хата, который в первой беседе с нашими военными представителями на аэродроме проронил:

— Наша армия готова сдаться на милость победителей, и чем скорей, тем лучше.

— Почему?

— Во избежание неприятных столкновений внутри самой армии. Нашей ошибкой было создание маньчжурских частей...

Много было чего ошибочного в японской агрессии. Не ошибается тот, кто ведет честную, миролюбивую политику...

23—24 августа. Радио раньше газет принесло очередную оперативную сводку. В Мукдене вместе со свитой задержан японский ставленник, «император» Маньчжурии Пу-и.

С 9 по 22 августа захвачено 483 японских самолета, танков

и самоходных пушек 171, полевых орудий 642, минометов 298, пулеметов 2764, разных складов 481...

Приказом товарища Сталина победителям на Дальнем Востоке объявлена благодарность. 23 августа Москва салютовала двадцатью четырьмя залпами из трехсот двадцати орудий...

Ряд соединений за отличия в боях получают наименования «Хинганских», «Амурских», «Уссурийских», «Харбинских», «Мукденских», «Сахалинских», «Курильских» и «Порт-Артурских».

На душе весело. Друг друга поздравляем с победой. В частях и подразделениях начались митинги по поводу приказа товарища Сталина.

26—27 августа. Мы едем по Китайской Чаньчуньской железной дороге в сторону Кореи. Войной здесь уже не пахнет. Наши войска, погруженные в эшелоны, везут корейские и маньчжурские машинисты.

Мы едем по той дороге, которая, по договору СССР с Китаем от 14 августа 1945 года, будет выполнять большую хозяйственную и стратегическую роль в укреплении наших взаимоотношений с Китаем и Маньчжурией.

Мы озираем те местности, которые давно уже известны по материалам наших русских исследователей. Здесь не раз бывали русские ученые. Среди них Петр Алексеевич Кропоткин, прошедший в 1863 году на Амур через Хинганский хребет и впервые составивший карту этой местности. Позднее лет на десять здесь путешествовал с научными целями доктор Павел Пасецкий, знаменитый Николай Пржевальский, Григорий Потанин и другие. Они составили описание природы, растительного и животного мира, жизни и быта местного населения.

Мы едем по дороге, которая была известна под сокращенным наименованием КВЖД. Строительство дороги было начато в 1898 году.

За два года героического труда русских людей в пустынной степи, в скалистых сопках, на протяжении около 2400 километров, была построена КВЖД, служившая продолжением Великого сибирского пути, по длине которому нет равного в мире. Тогда же русские люди построили на КВЖД сотни станций и разъездов, основали административный центр дороги—Харбин и воздвигли город—Порт-Дальний.

Мы едем по густо населенному, ожившему краю. И тому, что здесь за последние четыре десятилетия выросли города, станции, фабрики и заводы, Маньчжурия и Корея обязаны в первую очередь магистрали, связывающей Восток с Западом, оказавшим прогрессивное влияние на здешнюю экономику. Труд русского народа и передовая мысль русских ученых-исследователей не пропали даром.

Писатель Гарин-Михайловский сорок лет тому назад описывал труды и подвиги русских людей в Маньчжурии, называл быстро растущий Харбин русским Чикаго, русской Америкой, центром Маньчжурии, житницей всего Востока. Этот город, расположенный на Сунгари, и судоходство на ней создали русские инженеры.

Я перелистываю шестой томик Гарина-Михайловского и не без гордости за наш народ ощущаю прилив радости за то, что мы, советские солдаты и офицеры, освобождаем страну, уже обильно политую потом и кровью наших отцов.

В пути мы узнали, что наши десантные войска уже заняли в Корее города Хейдзио и Канко и ряд других. Японцы без сопротивления продолжают сдаваться в плен...

В маленьком городке неподалеку от Западного Корейского залива я встретил летчика-капитана из гвардейского Гатчинского полка ночных бомбардировщиков. Он увлеченно рассказывал с своих впечатлений от корейских промышленных центров, о высадках десантов, о встрече с корейским населением.

Воздушный корабль капитана прибыл в Канко одним из первых. Я начинаю завидовать капитану да и вообще летчикам, чьею возможностью видеть больше нашего. Капитан рассказал:

— Канко, занятый нашими десантными войсками, один из крупнейших промышленных центров Кореи. На окраине города химический комбинат японского концерна «Пиппон-Тисо». Более 70.000 корейцев здесь работало на японскую военщину, на своих поработителей.

Как и везде, в других городах Маньчжурии и Кореи, встреча наших десантников в Канко превратилась в демонстрацию радости и дружбы освобожденного корейского народа.

В помещении аэровокзала генерал-полковник Чистяков, прибывший во главе нашего десанта в Канко, принимал японских генералов Кусибучи и Каваме—верхушку 34-й японской армии. Советскому генералу Чистякову не впервые пришлось встречаться с генералами побежденных вражеских армий. Генерал Каваме, с присущей японцам напускной любезностью, поздравляет русского генерала с победой. Насколько такое поздравление исходит от души, об этом судить не будем. Генерал добавляет, что японское командование в Канко готово выполнить любое указание советского генерала. Что может высказать больше капитулянт перед победителем?

Другое дело—масса корейских тружеников. Восклидания, приветливые жесты, объятия, красные флаги, произношение имени Сталина—все это свидетельствует о глубокой любви к нам корейского народа. Русские эмигранты в Корее—редкость. Это, возможно, потому, что с некоторых пор японцы объявили Корею

не только страной утренней свежести—«чосен», но и страной-отшельницей, куда запрещался въезд иностранцам.

Если и были в Корее одиночки русские эмигранты, то это те, которые пользовались особым доверием и служили японцам.

Вообще в Корее, как и в Маньчжурии, можно встретить много чего из причуд в нравах и обычаях местного населения. В пути между крупными населенными пунктами, а их в Корее довольно много, встречались обозы из громоздких двухколесных повозок. В упряжках медленно шли угрюмые буйволы, спокойные мулы, а иногда попадали «тройки»: посередине в коротких оглоблях лошадь, а по сторонам ее тянут лямку бык и корова, и все уживаются, не рвутся, не опережают друг друга, а лениво и степенно под визгливые возгласы возницы шагают по широкой и пыльной дороге.

В городах после шести часов вечера много празднующейся публики. Цветные веера и зонтики, цилиндры и соломенные шляпы, широченные штаны, халаты-кимоно и европейские костюмы—все перемешалось в пестрой, многолюдной, оживленной событиями толпе.

Признаться, все это разнообразие уже никого не удивляет, как не удивляет едущий на арбе красноармеец, сидящий в обнимку с корейцем. Кореец останавливает на одном из перекрестков «экипаж», отводит красноармейца к японскому дому, где на подвальной обитой жестью двери мелом по-русски написано: «минировано».

Но разве наши «братья славяне» боятся таких надписей? Собирается группа бойцов во главе с лейтенантом; появляется бечевка, привязывают ее за скобы и петли. Отойдя метров на пятьдесят, с помощью тех же корейцев, дружно тянут бечеву. Кто-то предлагает запеть «Эй, ухнем!». Другой шутит, отговаривая:

— Может, тут так ухнет, что земли под собой не почуем...

Однако тянут и тянут. Дверь подалась, треснула и вместе с петлями, висячими и внутренними замками вырвалась. Взрыва не произошло, также мин в магазинах куда-то исчезнувшего японского торговца не оказалось.

Куски и кипы шелка, крепдешина и ситца заполняли помещение.

— Передать корейцам, а нам тут делать нечего,—распорядился лейтенант.

Не без интереса к культуре здешнего народа я переступил порог одного из городских уличных театров, рассчитанных на гуляющую публику.

Театр небольшой, мест на триста, он скорее напоминает ярмарочный увеселительный балаган, какие водились у нас в до-революционной России.

Перед началом представления девушка-корейка в платье из разноцветных лоскутьев, загримированная сверх всякой меры, бегала по улицам около театра и была палкой по медному подносу, сзывая таким способом публику к началу действия.

Нас, человек пять русских офицеров, не допустили к кассе, а вежливо провели без билетов и посадили в первый ряд на «полицейские» места.

Оказалось, что мы попали на концерт. Актер, как подобает, в черном сюртуке с «птичкой» под горлом, долго надрывался, пел. И что он пел и как он пел, мы не смогли оценить по достоинству. Ему никто не аплодировал. Уставший певец тут же на сцене прилег отдохнуть на диван. По сцене без надобности и препятствия ходили взад-вперед посторонние люди. Актер продолжал дышать. Потом выступила с погремушками, пела и плясала девушка, которая звала посетителей с улицы. Она была «в ударе», работала изо всех сил, очевидно стараясь угодить нам. Мы сидели чинно, степенно, как положено сидеть в приличном обществе, да еще во время постановки...

\* \* \*

Несколько слов о Корее. Корея—страна древней культуры. На 220.800 квадратных километрах территории 24 миллиона населения. С 1910 года Япония прибрала Корею к своим рукам, как выгодную колонию, и с тех пор безраздельно и хищнически господствовала над ней до сего дня.

Корея должна стать самостоятельной. Ее богатейшие залежи угля, железной руды, графита, золота, серебра и других ископаемых должны принадлежать истинному владельцу—корейскому народу.

За годы колониальной эксплуатации японцы развили в Корее некоторые виды промышленности. Рост корейского пролетариата достиг внушительной цифры 1.200.000. Существовал строгий режим тяжелого, принудительного труда. За время войны Японии на Тихом океане жизненный уровень корейских рабочих понизился; налоги увеличивались вдвое; принудительные займы выросли в семь раз,—японцы нуждались в содержании армии, строили стратегические железные дороги, не стесняясь относить эти расходы за счет эксплуатируемых корейцев. Поэтому не случайно и вполне естественно в Корее возникали партизанские отряды, яростно сражавшиеся против регулярных японских войск за независимость корейского народа.

Многие вооруженные отряды корейцев перешли в Маньчжурию и там, объединившись с китайцами, продолжали вести борьбу.

Против непокорных корейцев японцы применяли не только оружие. Средства идеологической демагогии были не последним в их агрессивном арсенале.

Одна девушка-корейка, мало-мальски знакомая с русским языком, рассказывала нам о существовании в Корее союза молодежи, опекуном и вдохновителем которого был видный японский жандарм Танака Такэо, он проповедывал идею общности интересов Японии и Кореи; изгонял из употребления корейский язык; с помощью полиции менял корейские фамилии на японские; упразднял корейский шрифт, чтобы волей-неволей корейцы читали всякую макулатуру только на языке японцев. Печатного хлама поработители выпускали немало.

В городах и населенных пунктах Кореи ветер разносит по улицам выброшенные газеты, журналы, обрывки книг, где что ни строчка, то и славословие «непобедимой» императорской армии, славословие с многочисленными портретами японских летчиков, которые, судя по сегодняшним событиям, только и встречаются, что на страницах старых выброшенных журналов.

Отдельные группы корейской молодежи вооружились, взялись добровольно нести охрану предприятий от возможных диверсий. Они не сомневались в наличии шпионов и диверсантов из числа той же местной молодежи, отобранных и подготовленных японцами в специальных школах.

Еще задолго до начала вступления наших войск в Маньчжурию и Корею, японцы всеми способами агитации запугивали корейцев. Угрозы не имели успеха. Ожидание освобождения от кабалы и бесправия было превыше всяких страхов. И, опять-таки не случайно, наиболее решительные и сочувствующие нам и делу собственного освобождения корейцы не боялись оказывать помощь Красной Армии.

Дело было во время десантных операций. Тяжело раненый командир роты, советский офицер, старший лейтенант Яроцкий оказался в глубоком тылу японских войск. Истекая кровью, он лежал в гаоляне, почти не имея никаких надежд на сохранение своей жизни. Но нашелся добрый человек, старый кореец Лянь-Го-Дзян. Он осторожно поднял себе на спину раненого Яроцкого, бережно и скрытно перенес в ущелье, где ухаживал за ним, кормил, поил и лечил прославленным корнем жизни жень-шень до тех пор, пока не пришли сюда части Красной Армии.

Корейские девчата, иногда рискуя жизнью, подносили в кувшинах воду нашим сражавшимся десантникам, временно находившимся в трудных условиях и изнемогавшим от жажды...

28 августа. Летчик, с которым я познакомился, предупредил меня, что он летит в Порт-Дальний, откуда до Порт-Артура—рукой подать. Как не использовать такую возможность? Два-три часа в воздухе, и мы над побережьем Желтого моря. Море можно было бы назвать правильнее не Желтым, а Прозрачным; с почтительной высоты на значительной глубине виднеется дно моря, усеянное валунами разных оттенков.

В Дальнем задерживаться не было ни времени, ни желания, хотя приморский город и кажется весьма живым и привлекательным.

С первой попутной машиной еду в легендарный Порт-Артур. Пока наш переполненный грузовик несется по гладкому шоссе, ровной полосой пролегающему по отлогим холмам, я припоминаю прочитанное повествование А. Степанова о Порт-Артуре.

Сорок лет японцы владели Порт-Артуром. Остались ли следы, свидетельствующие об эпопее обороны крепости? Я сомневался в этом. Сомнения оказались ошибочными.

Из материалов о Порт-Артурской обороне известно, что крепость находилась в осаде 332 дня. Взятие крепости японцам обошлось тогда в 112.000 человек убитыми. Потери наших русских солдат исчисляются в 26.000.

Известно также, что крепость пала в результате измены Стесселя. Последний, под давлением общественного мнения, царским правительством был отдан под суд и приговорен к смертной казни. «Великодушные» судьи поверх приговора представили царю ходатайство о помиловании высокопоставленного изменника, мотивируя:

... «Крепость, осажденная с моря и суши превосходными силами противника, выдержала небывалую по упорству в летописях истории оборону и удивила весь мир доблестью своих защитников».

Царь заменил Стесселю казнь заключением в крепости, откуда через полтора года предатель Порт-Артура был освобожден. Что касается других изменников, то они перед судом оправдались...

Перед нами открывается вид на Порт-Артур. Издали город своей внешностью и окружающей природой напоминает наши города, находящиеся на Кавказском и Крымском побережьях Черного моря. На окраинах узкие улицы и переулочки с низенькими, уютными и опрятными домиками, утопающими в зелени. Солнце здесь такое же жгучее и плодотворное, как у нас в южных курортных местностях. На первый взгляд ничего величественного, потрясающего или действующего на воображение с внешней стороны города нет.

Всего неделя тому назад, как здесь высадился первый десант советских войск. Автоматчики, идущие теневой стороной улицы, потные, не привыкшие к такому жаркому климату, за время войны, вероятно, не мало повидали на своем пути разных городов, куда интересней Порт-Артура.

Но у этого города есть свое неотъемлемое, свое историческое лицо героического прошлого русского народа. Привлекает не только прошлое: патриоты своей родины с благоговением преклоняются перед памятью своих дедов и отцов, сложивших головы за честь России, не по их вине опозоренной самодержавием; сегодняшний Порт-Артур привлекает наше внимание, как крепость будущего, где СССР может «ногою твердой стать при море», оберегать наши восточные границы и владения на многие лета от всяких случайностей.

По договору с Китаем, мы хозяева в Порт-Артуре сроком на 30 лет. Как на это реагирует местное население?

— Мы желаем договор такой на 300 лет, да еще на 300,— говорит нам переводчик со слов китайцев и корейцев, проживающих в Порт-Артуре. Они говорят искренно, как искренно верят в нашу мирную, дружественную политику.

Стряхнув с себя дорожную пыль, выпив за двугривенный кружку какой-то освежающей фруктовой влаги, да еще наполнив карманы мелкими китайскими яблоками, напоминающими нечто вроде нашей спелой клюквы, и орехами с мягкой, податливой на зуб шелухой, мы пристраиваемся к группе военных товарищей.

У нас есть переводчик. С переводчиком нетрудно найти путеводителя.

Китаец смуглый, зубастый, с застывшей навечно улыбкой, охотно взял поданную ему оранжевую тридцатку.

Неспеша шагаем по главной улице; ей присвоено имя Победы. Китаец, пряча лицо и обнаженные плечи под «сенью» широкополой шляпы, заглядывает в глаза переводчику—нашему офицеру, бормочет безумолку. Видать, переводчик понимает все, что говорит китаец. На нашем пути, поперек улиц, уже высятся покрытые свежей краской арки с приветливыми надписями на китайском и русском языках. В одном переулке китаец остановился против забора и показал рукой на закрытые ворота:

— Япона, япона.

Мы заглянули.

Широкий двор загроможден горами всех видов трофейного оружия, охраняемого нашими бойцами. Японцев тут уже не было. 15.000 сдалось их в плен; погруженные на баржи, они удалены из Порт-Артура.

Выйдя на аллею, под горкой, внизу изрытой убежищами и щелями, мы остановились.

— Это место, кто помнит по произведению Степанова, называлось раньше «Этажеркой»,—говорит переводчик.—Куда мы пойдём отсюда?—спрашивает он нас.—Можно пойти на гору Перепелиную, откуда откроется весь вид на город, на сопки Обеликовую, Парпетную, Канонирную, на Электрический утес, свисающий над бухтой, и на другие исторические места. Или же сначала пойдём на кладбище русских воинов?..

— Конечно, на кладбище,—сказали все мы,—долг каждого почтить память погибших защитников крепости.

По пути мы купили букеты цветов, сделали из них венки.. Надо отдать справедливость, японцы не опошляли кладбище русских воинов. Оно сохранилось. При входе—часовня. В часовне венки, портреты погибших генерала Кондратенко, адмирала Макарова. Мы не первые здесь посетители; за неделю пребывания наших войск в Порт-Артуре тысячи советских бойцов и офицеров приходили сюда на заросшие густой и высокой травой могилы, с волнением читали надписи на обелисках, свидетельствующие цифрами о безымянных героях 14 Восточно-Сибирского полка и других частей, участвовавших в обороне Порт-Артурса. Посреди кладбища общий, громадный мраморный крест—памятник пятнадцати тысячам похороненных.

«Храбрым русским воинам»,—гласит надпись на памятнике, воздвигнутом русской общественностью в 1907 году.

Тихий ветерок с моря шелестит листвою стройных тополей и густо разросшихся акаций. Мы стоим с обнаженными головами, молчаливо озираем вечное пристанище героев русско-японской войны. Над нами высится Саперная гора; внизу за кладбищем переливается река Лунхэ. И гора и река долговечны; и память о героях, чьи кости ещё не истлели, уйдёт вперед, в далекие века, в вечность.

— Спице спокойно, товарищи. Мы, русские, снова здесь...

Подобные возгласы—мысли вслух были не единичны. Они свежо запечатлены в отдельных надписях на памятниках-обелисках, на полуразрушенных стенах старых построек:

«Сам Ленин сказал про вас—не русский народ, а самодержавие пришло к позорному поражению».

«Встань, Кондратенко, и посмотри, в Порт-Артуре опять русские, твои сыны и внуки—воины Красной Армии».

«Да живет во веки веков наша Родина. Лейтенант Максимов».

«Россия вечна... Красноармеец Петухов».

«Самураев не видно. Мы вышибли их из Порт-Артурса. Гвардии сержант Родионов».

«Берлин—Порт-Артур 1945 год. Лейтенант Веселов».

Переночевав в казарме, в которой в свое время жили защитники Порт-Артурса, мы собрались большой группой для обозре-

ния исторических мест. День обещал быть не хуже вчерашнего. Глубокое синее небо, сросшееся с Тихим океаном. Ни облачка. Лучистое солнце сначала озарило, а потом пошло выше и выше, стало безжалостно подогревать и без того затвердевшую землю, рассыпалось переливчатыми искрами и на тихой морской ряби и по цветистым склонам Порт-Артурских сопок.

Когда мы шли по улицам города в сторону горы Перепелиной, по-настоящему начинался день. Городские жители уже были заняты всяк своим делом: кто бежал к базару с лотками фруктов и овощей, кто по-хозяйски лазал по цинковым крышам фанз и расстилал для просушки под горячее солнце кукурузные шишки, орехи и какие-то целебные травы.

Прежде чем подняться на гору Перепелиную и заняться осмотром немых, но как-будто живых свидетелей исторической эпопеи, пожалуй не будет лишним вспомнить кое-что из первых страниц описания русско-японской войны 1904—1905 г.г.

Японцы, пользуясь слабостью и неподготовленностью русского самодержавия, совершили вероломное нападение без объявления войны. К началу войны японский флот—боееспособнее нашей тихоокеанской эскадры. Гарнизон Порт-Артура состоял из 40.000 человек и 610 орудий. Японцы бросили тогда на нашу крепость до 100.000 войска и непрерывно пополняли свои потери. Крепостные укрепления не были возведены полностью. Причина: беспечность, воровство и стяжательство царских генералов. И тем не менее, солдатская храбрость была защитой крепче всяких каменных стен. Героизм и самопожертвование русских солдат и передовых честных офицеров на суше, доблесть и дерзость наших матросов на море изумляли весь мир...

Мы, сбившись в кучу, стоим на вершине Перепелиной горы. Здесь место одной из крепостных батарей, носившей в ту пору название «Перепелка».

Гора—в центре крепости; отсюда открывается вид на город, разделенный надвое, на старый и новый; вид на долину, орошаемую узкой рекой, на сопки, где издали заметны следы уцелевших и разрушенных укреплений. С этой горы русская батарея из тяжелых орудий обстреливала японские военные суда, отражала штурмовавшую пехоту. Немало «Перепелка» причинила неприятностей самураям. Недаром после того, как изменник Стесель сдал город и крепость, японцы на этой сопке соорудили памятник высотой с добрую колокольню—218 футов,—сверху водрузили неразорвавшийся снаряд. Теперь же к снаряду прикреплен развевающийся, горящий на солнце, советский флаг. Памятник японской победы жестокой, но справедливой иронией истории превращен в памятник их поражения.

Дальше мы посетили гору Высокую. На ней еще сохрани-

лись орудия, из которых русские войска в упор расстреливали оголтело наступавших японцев. На Высокой, по ее склонам сохранились траншеи, окопы, ржавая, колючая проволока, тухлые мешки с песком; тут же заросшие травой воронки от снарядов.

Если нерасторопное и недалекое командование из царских прихвостней недооценивало значение горы Высокой, своевременно не создало здесь удобных и неприступных позиций, то японцы знали цену этому стратегическому пункту. В результате ожесточенного сопротивления русских солдат, они устали подступы к Высокой десятью тысячами трупов самураев и лишь только благодаря Стесселю (они могли его благодарить), не подославшему сюда подкреплений, гора Высокая в их руках стала выгодным опорным местом для развития наступления.

Здесь, поставив свои батареи тяжелых гаубиц, японцы разрушали город. С этого удобного рубежа артиллерийским огнем они способствовали своему флоту; вблизи от Порт-Артура вражеские снаряды погрузили на дно наши военные суда: два броненосца «Победа» и «Пересвет», два крейсера «Баян» и «Баллада» и канонерку «Отважный»...

Мы ходим по Высокой, шагая через бугристую поверхность, обращаем внимание на каждую мелочь, не есть ли она свидетель величия героических будней наших славных борцов?.. Здесь велись упорные бои. Русские солдаты сражались до последнего; такова традиция, соблюденная ими с отвагой и честью.

Вот в кустарнике из земли торчит какая-то ржавая изогнутая железяка; осторожно, чтобы не сломать находку и не поцарапать руки, вытаскиваем изогнутый, перебитый ствол русской винтовки, осматриваем, как реликвию, достойную быть под стеклом в музее.

Как знать, быть может этой винтовкой орудовал в рукопашной схватке поручик Борейко или рядовой Блохин, любовно описанные автором «Порт-Артура».

С горы Высокой,—нас уже собралась внушительная группа,—мы направились на то место, где в девятьсот четвертом находился форт № 2.

Камни-валуны, силой чудовищных взрывов раскиданные по взгорью, остатки стен железобетонных укреплений, арка преддверия, ведущего в казематы,—вот, пожалуй, и все, что осталось от форта № 2. Здесь в крепостных казематах находилась рота русских солдат, державших оборону; шесть орудий, два пулемета. Личному составу, отрезанному от основных сил, казалось, жить тут нечем. стакан воды в день, полфунта конины на неделю, сухарные крохи. Солдаты и офицеры, изнуренные условиями, не только безропотно держались, но и находили еще в себе силы совершать смелые вылазки в расположение противника.

Несмотря на ожесточенный огонь японцев, осаждавших форт № 2, генерал Кондратенко нередко навещал гарнизон форта. Солдаты взаимно любили генерала; его появление поднимало их дух. Последний раз, не взирая на обстрел, он пришел к ним по глубоким извилистым траншеям; провел беседу с офицерами, расспросил об особо отличившихся смельчаках, выдал награды и расцеловал храбрецов. Тяжелый японский снаряд угодил в офицерский блиндаж. Под развалинами нашли убитого генерала Кондратенко и двух подполковников,—это было 15 декабря 1904 года. А через три дня изменник Стессель распорядился сдать японцам и этот форт. Уходя, наши солдаты унесли всех раненых товарищей; взорвали орудия и оставили японцам от форта одни только развалины в сохранившемся до сего дня виде...

— Снять головные уборы!—повелительно приказывает стоящий с нами подполковник с двумя рядами орденских нашивок, и сам первый обнажает голову. Две-три минуты мы стоим молча, в почтении перед памятью героев.

Затем подполковник, обращаясь к нам, говорит:

— И прежде и теперь в русской армии считалось и считается звание солдата почетным. Солдат есть имя общее. Солдатом с гордостью называет себя и первейший генерал и рядовой. Недавно еще Наполеон, ставя русских солдат в пример своим, говаривал: «Если бы я повелевал русскими солдатами, вся вселенная пала бы к моим ногам». По признанию Энгельса, русский солдат является одним из самых храбрых в Европе.

Да, эту оценку подтверждали наши предки, подтвердили и мы, выйдя за Берлин и дойдя до Порт-Артура...

Подполковник выразил свое и наше мнение.

Внимательно осмотрев здесь развалины—следы обороны, мы направились на следующую высоту с романтическим названием—Орлиное Гнездо. Два дальнобойных орудия системы Канэ, изуродованные в казенной части, стоят на вершине горы. Мы глядим сталь вытянутых настильно стволов, покорно молчаливых, сослуживших свою службу. Немало атак было предпринято японцами против Орлиного Гнезда. Каждый раз русские орлы отбрасывали их, нанося врагу многочисленные потери.

Сюда, не ожидая приказа, приходили солдаты к поручику Гринцевичу на пополнение, приносили патроны, гранаты, приносили боевой порыв, готовность умереть, но не сдавать крепость. Напоследок в этом укреплении осталось всего только трое защитников, не думавших остаться в живых.

1-е января (по новому стилю) 1905 года было последним днем Порт-Артурской обороны. Негодование солдат и офицеров не

было предела. Их воинственный дух, несмотря на тяжелые потери людского состава, не был сломлен. И если бы не измена и предательство, Порт-Артур выдержал бы, не сдался...

31 августа. Все, что приходилось видеть, слышать, запечатлевать,—все это происходило мимоходом, мимоездом, мимоходом, второпях. Сейчас не время спокойных экскурсий.

На обратном пути из Порт-Артура, при пересадке с поезда на поезд, я на полсуток задержался в Харбине. Чтобы время не пропадало даром в вокзальной сутолоке, направился в город, в штаб начальника гарнизона. Здесь встретил знакомого, из резервного офицерского полка, старшего лейтенанта Плясунова. Разговорились. Оказывается, Плясунов служит в Харбине, ведая охраной опустевших стен Харбинской японской тюрьмы особого района, расположенной в центре города, если не ошибаюсь, на Китайской улице. Плясунов пригласил к себе. С приходом Красной Армии в Харбин тюрьма особого района опустела, притихла. Унылые каменные стены высокой ограды выходят углом на улицу и в переулок. Вместо колючей проволоки на поверхности стены сцементированы осколки режущего стекла средней толщины. Камеры раскрыты, в них ничего особенного. Впрочем, старичок, надзиратель, прослуживший здесь десяток лет, показал одну камеру, где приводились в исполнение приговора над осужденными к смертной казни. О способах умерщвления приговоренных говорит одинокий, стоящий посередь камеры, тяжеловесный деревянный стул с высокой спинкой. На уровне шеи сидящего, в спинке стула две дыры, в них просовывается петля. Это не «цивилизованный» электрический стул, но все же стул.

При тюрьме церковь. Тесная, мрачная, с такими же тюремными двойными решетками. На видном месте икона богородицы «всех скорбящих радость», она висит, как соответствующий бывшим условиям жизни заключенных, многокрасочный плакат, изображающий «владычицу» с распростертыми руками, а сбоку с острой бородкой Христос предупреждает словами из евангелия: «Придите ко мне вси труждающиеся и обремененнии и аз упокою вы».

Сколько тут «упокоено» японской жандармерией, судить трудно. При тюрьме библиотека из пожертвованных книг. Беру наудачу несколько штук в стареньких переплетах: Бунин, Амфитеатров, Арцыбашев, Дорошевич и другие авторы. А на титульных листках три печати: частного владельца, некоего эмигранта Николая Петровича Полякова, подарившего сюда книги; печать тюрьмы особого района и внушительная, жирная печать с японскими иероглифами. По вырезкам из газет и журналов, расклеенным на стенах библиотеки, видно, что в этом году заботливым библиотекарем отмечался Некрасовский юбилей. В наглядных ма-

териалах о великом русском певце мести и печали нет ни слова о революционном значении его поэзии. Но этому удивляться не стоит.

Читал данные о Некрасове харбинских «литературоведов», мне становится невыносимо душно, гнев поднимается в моей душе, и я спешу скорее на улицу.

2 с е н т я б р я. Вчера, по вызову редакции, возвратился из командировки.

Сегодня в сумерках я выехал в Спасск, обратно в резервный полк офицерского состава.

На станцию Евгеньевка, что в пригороде Спасска, прибыл поздно, около полуночи. Как только я вышел из вагона, заметил странное оживление. Потом слышу—пальба. То частая, одиночная, то групповая, почти залпом, пальба, как слышно по звуку, из револьверов, винтовок и автоматов. Что случилось? Уж не просочилась ли в Спасск какая-нибудь диверсионная группа японцев? Уж не самураи ли смертники навели панику в отдельных уголках и особенно, как слышно, в гарнизоне города?..

После я узнал, что такая чепуха не мне одному пришла в голову. На самом деле происходил неорганизованный салют. Стреляли всюду, где только находились военные, стреляли все, кому не лень и кому было чем стрелять. Стреляли потому, что перед приходом нашего поезда по радио было заслушано обращение товарища Сталина к народу.

Сегодня в Токийском заливе, на борту американского линкора «Миссури», японские представители подписали акт о капитуляции на всех фронтах. Завтра праздник победы над Японией.

Захожу в вокзал. В ресторане полным-полно людей. Многие на «взводе»; чокаются, шумят, пьют за победу. По радио диктором передается обращение вождя. Слышу памятные слова:

«...Но поражение русских войск в 1904 году в период русско-японской войны оставило в сознании народа тяжелые воспоминания. Оно легло на нашу страну черным пятном. Наш народ верил и ждал, что наступит день, когда Япония будет разбита и пятно будет ликвидировано. Сорок лет ждали мы, люди старого поколения, этого дня. И вот, этот день наступил. Сегодня Япония признала себя побежденной и подписала акт безоговорочной капитуляции.

Это означает, что южный Сахалин и Курильские острова отойдут к Советскому Союзу и отныне они будут служить не средством отрыва Советского Союза от океана и базой японского нападения на наш Дальний Восток, а средством прямой связи Со-

ветского Союза с океаном и базой обороны нашей страны от японской агрессии»...

Последние поздравительные слова обращения заглушаются криками «ура» и бодрыми звуками боевой музыки.

Декабрь 1945 года.

## 32. ДОМОЙ

Прошли три месяца в ожидании демобилизации.

Ежедневно мимо нас проходили эшелоны с демобилизованными рядовыми бойцами, с сержантами. Четыре с лишним года времени и тысячи километров расстояния разделяли их с семьями. Как приятны и радостны будут встречи после столь длительной разлуки. Встречи с родными, встречи с друзьями и подругами. И как будет неплохо вспомнить тогда недавно пережитые годы, вспомнить боевых товарищей, друзей; рассказать что-нибудь глубоко осевшее в памяти из боевой жизни.

Помянуть добрым словом тех товарищей, которые навсегда остались на поле брани; и, блеснув перед слушателями седной висков, сказать:

— Да, друзья, не легкие были годы. Не даром далась победа. И вам в тылу, и нам на фронте всякое приходилось переживать. Но все хорошо, что хорошо кончается; наше дело правое — мы победили. Теперь остается трудиться, чтобы наладить по-хорошему нашу жизнь...

Наконец, в середине декабря, вопрос об увольнении офицеров в запас разрешился.

В морозное утро мы погрузились в промерзшие товарные вагоны и, будучи прицеплены к шедшему из Владивостока эшелону, тронулись в обратный путь, на запад.

Затопили чугунную «буржуйку», отогрелись. Разделись. Места всем хватило, но свободного ни вершка не осталось. Так-то будет теплее. А там, в Сибири, человек десятков высадится, — дальше ехать будет свободней.

Оживились разговоры. Кто-то достал из ящика новенький аккордеон.

— Ну, братва, дорога дальняя, а скучно не будет. Кто горазд? Играй...

А где музыка, там и песня. В вагоне выискался всего один хороший гармонист, а петь — пожалуйста, кто не может петь при добром расположении духа? Под звучный переливчатый голос аккордеона, под торопливый стук колес, зародилась и понеслась дальневосточная песня:

Во всем Забайкалье метут снегопады,  
Играет снежинками ветер лихой.  
Приморские сопки, маньчжурские пади...  
Во век не забуду поход боевой.

Над снежную степью—спокойные птицы,  
Над мирною хатой—лиловый дымок,  
Прощай, Забайкалье, прощайте, станицы,  
Добром нас запомни, Советский Восток...

Чем дальше ехали, тем меньше становилось нас в вагоне. Горячо прощаясь, мы оставляли своих товарищей-спутников в сибирских и уральских городах, на станциях и разъездах. Две недели шел наш эшелон, охватывая путь около одной трети поперек земного шара. Оставалось мне проехать последний перегон Вологда—Архангельск. Здесь я пересел в пассажирский поезд, поместился у окна вагона и смотрел сквозь серебристое кружево изморози на знакомые, родные места.

Смотрел и вспоминал далекое, незабываемое детство. Вспоминая довоенные годы, думал о предстоящей новой жизни, о новом, пока еще не известном мне, поприще работы.

Думал о семье.

31 декабря, утром, поезд доставил меня в Архангельск.

О том, что приеду на новый год, я не оповестил жену. Пусть будет для нее и для любимца сына мой приезд сюрпризом. И так, я снова в родном городе. Хочется скорее бежать домой. Но стоит ли это делать сейчас? Не лучше ли подождать до позднего вечера и угодить в объятия родных в те минуты, когда они по радио будут слушать новогоднюю поздравительную речь Михаила Ивановича Калинина?..

Я решаю произвести в нужный и торжественный момент выгодное впечатление.

В вокзальном, холодном буфете, повесив вещевой мешок на спинку стула, сижу за... надцатым стаканом чая и, уткнувшись в газету, жду счастливый урочный час.



